



ЛитРес: Самиздат

Анатолий Курчаткин

Портрет женщины в разные годы



ИЗБРАННОЕ

Русский ПЕН. Избранное

Анатолий Курчаткин

Потрет женщины в разные годы

«Автор»

Курчаткин А.

Потрет женщины в разные годы / А. Курчаткин — «Автор»,
— (Русский ПЕН. Избранное)

В этой книге много героинь, но всех их объединяет одно: они женщины. Жаждающие любви и стремящиеся обрести свое место в жизни, ошибающиеся, порой непоправимо, прощающие и мстящие. Они живут в разные времена. В 70-е годы прошлого века, когда начинается эпоха советского «застоя» (повесть «Семейная жизнь»), в 80-е, когда воздух жизни уже словно бы пропитан тлением (повесть «Бабий дом», по ней снят фильм «Ребро Адама»), в 90-е, когда вся жизнь сдвигается с места и, обещающая новые горизонты, кажется, летит в тартарары (повесть «Новая дивная жизнь (Амазонка)»). И так — до наших дней, совершенно, ни в чем не похожих на ту жизнь, которой жили героини 70-х (рассказ «Жарким летом прошедшего года»). В книгу вошло девять произведений, написанных в разные годы. Писатель прекрасно чувствует женское естество, точно и выразительно воссоздает внутренний женский мир — любя своих героинь и понимая их, но ничуть им не льстя. Женщины Анатолия Курчаткина и прельстительны, и коварны, и добры, и злонравны — все, как оно и есть в реальной человеческой жизни. Прекрасный русский язык, каким написаны произведения писателя, доставит читателям книги настоящее, глубокое и сильное эстетическое наслаждение.

© Курчаткин А.

© Автор

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Самое начало 1970-х гг | 5 |
| Год 1973-й | 50 |
| Середина 1970-х гг | 65 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 78 |

Анатолий Курчаткин

Портрет женщины в разные годы

Самое начало 1970-х гг Семейная жизнь

1

Кира заканчивала институт, когда выходила замуж, защитила уже диплом; и оттого ли, что просто ей наконец подошло время, или еще отчего, вдрызгалась в Николая, как, смеясь, говорила ему потом, по самую макушку. Бывало, после прощания у дверей общежития брала такси и ехала ему вдогонку: поймать на полдороге, возле дома, у лифта, – только увидеть сегодня еще раз...

По пути к машинам выходящие из Дворца бракосочетания пары перехватывала толстая цыганка со свисавшими чуть не до плеч серебряными серьгами, в серебряном древнем пенсне на черном, огромном носу.

– Дай, красавица, погадаю, – хрипло сказала она, становясь перед Кирой. – Правду скажу, видишь, ослепла? Книг сколько прочла – ой-ё-ёй!.. Одну правду, верь, красавица. Ну? Хочется, вижу, не тяни. Толкни красивого, пусть позолотит ручку, всю правду знать будешь.

– Дай ей, – попросила Кира, сжимая Николаю локоть. – Пожалуйста...

Николай достал из кармана рубль, и он исчез в бесчисленных складках цыганкиных юбок.

– Мало, ой мало, – забормотала цыганка. – Ничего не выйдет... – приняла еще один рубль, взяла Кирину руку и ладонью поднесла ее к своим глазам.

– Жизнь тебе долгая падает, красавица. Самолетом не летай только, остерегайся. Болезнь вижу. Казенный дом. Через него у тебя и болезнь. Денег больших не жди, все трудом, красавица, все трудом. Но сыта-обута будешь, тут тебе забот нет. Счастье придет – уйдет, поманит – спрячешься, не поймешь. Но будет у тебя, красавица, счастье. Через дальнюю дорогу достанется, дорожить станешь...

Через три месяца Кира забеременела. У нее оказался отрицательный резус, врач опасалась выкидыша и предложила лечь в больницу на сохранение. Кира согласилась, в срок начались схватки, но мальчик родился мертвым.

Когда ей сказали об этом, она ничего не почувствовала, – тело ее еще не освободилось от боли, которую ему только что пришлось вынести, но наутро, в палате, когда соседкам привезли кормить детей, она осознала весь ужас случившегося, всю бесполезность этой вчерашней боли... Пришел врач, и она стала хватать его за халат и, сжимая в слабом кулаке оторванную пуговицу, бормотала:

– Миленький, их же оживляют? Вы же умеете, миленький!.. Почему вы не сделали, разве нельзя было... почему?

Врач мягко разжал ей кулак, забрал пуговицу и, ободряюще улыбаясь, похлопал по руке:

– Ничего, голубушка, в следующий раз все будет хорошо. Давайте возвращайтесь к нам поскорее.

Пришла сестра, сделала укол, – Кира согрелась и уснула. Проснулась она к обеду, но сваренные всмятку яйца показались ей жирными, обволакивающими нёбо словно бы пленкой сала, ее стошнило, и больше она ничего не ела. Вечером долго не могла уснуть, попросила снотворное, но спала всего три часа. Перед работой забежал Николай, она поговорила с ним

через форточку и даже улыбнулась, когда он, уходя, показал ей «нос», но не смогла съесть и виноградинки из принесенных им двух килограммов. Ночью Кира не спала, хотя несколько раз пила димедрол.

Домой она вернулась только через полтора месяца, проведя их в санаторном отделении Огафуровских дач – бывшем доходном имении купца Огафурова, приспособленном ныне под клинику спецназначения...

За это время подросел кооператив. Николай перевез вещи, отциклевал пол, заменил двухконфорочную плиту четырехконфорочной, поставил дополнительные секции отопления, и они зажили отдельно от его матери, в свое удовольствие, ходя по гостям, по театрам, купили магнитофон и стали коллекционировать песни бардов и менестрелей, как окрестил кто-то, за неимением более подходящих слов в русском языке, поэтов, пишущих музыку к своим стихам.

В феврале у Николая прошло сокращение штатов. Его должность попала под карандаш, и благодаря чьей-то высокой воле, усомнившейся в необходимости двух старших инженеров в группе анализа экономической эффективности автоматизации и механизации производства, он сделался руководителем группы. Разговор об этом шел давно, но начальник отдела все не решался отправить на пенсию тянувшего еще воз, опытного старика, теперь ему пришлось выбирать: молодой или старый, и он выбрал молодого. Сама же Кира по-прежнему, как и до больницы, каждое утро становилась у своего древнего, поржавевшего, с залакировавшейся доской кульмана, с противовесом из наждачных кругов, о которые вся комната ходила точить скальпели: работалось хорошо, в охотку, не замечала, как подходило время звонку.

У нее было ощущение, что именно вот сейчас только началась та, новая жизнь, которая по ее девичьим ожиданиям, должна была наступить с замужеством. Она была счастлива, что она – жена, что у нее – своя семья, что избавлена от свекрови, от затаенной ее надменной недоброжелательности, происходившей из твердого убеждения, что брать жену не «из семьи», а из общежития – все одно, что приобретать вещь в комиссионном магазине. Она была счастлива, что она наконец хозяйка, что две эти комнатки, кухня, ванная – ее личные владения, в которых она может распоряжаться как хочет и не получать выговоров за брошенные не в тот бак сорочки мужа; каждодневная обязательная возня по дому: постирать свое и мужнино белье, погладить его, протереть пыль, приготовить обед – все это доставляло ей удовольствие.

После летнего отпуска Кира снова забеременела.

Теперь она боялась рожать. Но пуще того боялась она сказать о том, что решила, Николаю. Когда до срока осталось пять дней и дальше тянуть нельзя было, нужно было признаться, Николай уехал в командировку. Следом ему она отправила письмо.

Он прилетел в тот день, когда она, положив в сумку газетные свертки с отутюженной простыней, ночной рубашкой, тапочками, зубной щеткой, мылом и пастой, ушла с утра в больницу. Пока он узнавал, где она находится, наступил вечер, и когда он наконец прибежал в отделение, все ей уже сделали. Она получила от него записку, полную ругани, проревела над ней, не в силах написать ответ, часа два, так что отвечать ему выскочил в холл сам дежурный врач, и как он кричал на Николая, слышно было по всему больничному коридору.

Но когда через три дня Кира вернулась домой, она нашла Николая снова тем любящим, заботливым мужем, каким знала его всегда. Она выплакалась у него на плече, – он все понимал, простил ее и сам просил прощения за ту свою записку, и снова у них пошла прежняя размеренная, устроенная жизнь здоровых молодых людей, которые не обременены никакими заботами, кроме забот о самих себе.

Николай написал критическую статью о системе отчетности, спущенной заводу на новый год, предложил свою систему и отправил статью в «Правду». Ее подсократили и напечатали, в тот же день начальнику отдела звонили из Госплана, спрашивали, кто такой Касьянов, через неделю на завод из института, разработавшего систему, прилетели двое, один был доктором

наук, и, уезжая, он предложил Николаю готовить к осени реферат для поступления в аспирантуру.

Кира у женщин на работе выучилась вязать и связала Николаю свитер, а себе шапочку и варежки. В моду начал входить мохер, и она много времени потратила на то, чтобы достать мохеровую шерсть, из нее и связала себе шапочку. Ходили, как раньше, в гости и в театры, раза три за зиму выбирались на Уктус с лыжами, а в отпуск собирались поехать в Закарпатье, спускаться, если удастся, по Десне на плотах.

Но во всем том, что она делала, Кира теперь не находила радости, и к лету поняла, что больше не любит Николая.

2

Кофе наконец вскипел. Светлая нежная пенка потемнела, вспухла и брызнула, прорванная пузырьком воздуха. Кира прихватила кофейник попавшейся под руку тряпкой, которая оказалась мыльной, и отставила в сторону. Открытая на полный вентиль горелка едва теплилась, слабые синеватые язычки пламени лениво шевелились возле самых отверстий. Газ в баллоне кончался.

– Киреньш! – крикнул из комнаты Николай. – Скоро ты?

Кира закрыла вентиль и бросила тряпку в раковину.

– Обязательно нужно схватить не то...

– Что ты сказала? – снова крикнул Николай.

– Ничего. Иди.

Она ополоснула руки, вытерла их наскоро кухонным полотенцем и, плеснув в кофе чайную ложку холодной воды, чтобы взвесь осела, стала разливать по чашкам.

Вошел Николай. Пока варился кофе и Кира мыла тарелки, он оделся и был уже в своем летнем костюме, сидевшем на нем, как и подобает костюму из ателье «люкс», в белой сорочке, незастегнутый воротник которой придерживал серый, в тон костюму, с красной крапинкой галстук,

– Господи, зачем давиться в такую жару, – сказала Кира.

Он усмехнулся, садясь:

– Что ты все последнее время злишься, не понимаю? А, Киреньш?

– Психолог ты у меня, – протяжно ответила Кира. Она поставила кофейник на подставку и тоже села. – Замечаешь все, никуда от твоего глаза не денешься. Газ совсем кончился, вот и злюсь. Попробуй-ка поготовь сам на таком огне... Знать бы, когда они придут менять баллон, прибежала бы домой.

– Оставить ключ в тридцать пятой, а к двери приколоть записку – где он, – сказал Николай, отхлебывая из чашки. – И вся трагедия. Нет, ты не от этого такая странная.

– Выдумываешь все, Коля. Какая я странная.

– А нет?

Он сидел, развернувшись к столу вполоборота и забросив ногу на ногу, как обычно садился, когда пил кофе или чай, держал чашку обеими руками и чуть сутулился, как бы прижимая широкий свой прямой подбородок к груди; из открытой балконной двери тянуло – ерошило коротко стриженные рыжеватые волосы, вызолоченные в упор бившим в окно солнцем, и во всей этой его позе, в этой всегда ее несколько смешившей сосредоточенной серьезности, с какой он прихлебывал из чашки, было столько родного, не отторжимаго от ее жизни, знакомого будто с того еще времени, как стала себя помнить, что Кире до слез вдруг стыдно сделалось всего, что творилось с ней, захотелось, чтобы все стало по-старому, как прежде, и было так всю жизнь, до старости, до той самой поры, как они станут стариками и, седенькие, сторбленные, будут гулять вечерами по тихим тупиковым улочкам, густо обсаженным тополями...

Да, может быть, подумалось ей, все и есть по-старому, выдумала она все, и эта нервная отчужденность, мало-помалу начавшая сквозить в их отношениях, – лишь ее выдумка, нужно просто захотеть, чтобы было по-старому... ведь все это бывает только днем, ночью никогда.

– Ох, Коля, – сказала она. – Может, и действительно, странная я какая... Не знаю. Устала я что-то. Работы всю зиму невпроворот было... Устала. – Кира оттолкнула от себя чашку, облокотилась о стол, взяла в ладони подбородок. – Поехать бы куда, отдохнуть... Так ведь пока дождешься, когда тебе отпуск дадут, и лето пройдет.

Мгновение Николай поверх поднесенной к губам чашки смотрел на нее, потом поставил чашку на стол и выпрямился.

– А не поехать ли тебе, Киреныш, одной, а? Устала ты. Вид у тебя...

– Какой у меня вид? Не нравлюсь? – Кире стало стыдно его внимательных, добрых глаз, ей было стыдно, что он обо всем догадывается. Если она еще в этом сомневалась, когда он спрашивал – что с нею, то теперь, когда он предлагал ей поехать одной, сомневаться было просто смешно: поехать в отпуск не вместе – это и не мыслилось, и, даже упрекая его за те независимые от него обстоятельства, из-за которых ему не давали отпуск, она не думала об этом.

– Ну... Без обиды. – Николай забросил ногу на ногу, обхватил колено руками, сцепив пальцы, и спокойная неторопливость его движений снова смутила Киру: не догадывается? – Почему бы не одной? Может, у меня летом совсем с отпуском не выйдет. А?

– Да, – сказала Кира. – Да, ты знаешь, Надежда мне путевку предлагала, позавчера. Может быть, осталась еще...

– А если и не осталась! – Николай расцепил пальцы и отпил из чашки. – Так куда-нибудь поедешь. Дикарем, туристом. Подумай.

Репродуктор, молчавший три дня, сколько Кира ни стучала по нему, вдруг откашлялся, зашипел, и женский голос громко произнес: «Местное время семь часов сорок пять минут».

Николай одним глотком допил кофе и встал, застегивая ворот.

– Пора, Киреныш.

– Пора, – сказала она, продолжая сидеть, чувствуя себя виноватой перед Николаем за все, что происходит с ней, за будущий свой отпуск, виноватой и несчастной. – Мне еще краситься, посуду мыть...

Николай взял пустые чашки, поставил их в раковину, открыл воду.

Кира поднялась, подошла к нему и уткнулась лбом в его плечо.

– Господи! Хороший ведь ты у меня мужик, Коля...

3

На работе у Киры был тот странным образом случавшийся иногда после месяцев напряженного труда период, когда делать оказывалось нечего и, чтобы выгнать положенное количество листов, делалось то, что, заведомо все знали, должно будет переделываться после. Именно такую работу Кира и выполняла сейчас. С завода, поставившего пульты, пришла документация на разработанный им новый, с облегченной системой управления пульт. Пульт был хорош во всех отношениях, но не рассчитан на модель, которая в результате нынешних зимних трудов уже в следующем году запускалась в серию. Следовало произвести выборку необходимых данных, и послать их заводу-поставщику для модификации пульта, и до получения новых чертежей забыть о нем, но руководителю группы надлежало отчитываться перед начальником бюро о загруженности своих конструкторов, и вот уже четвертый день Кира разрисовывала ватман разноцветными карандашами – делала разводку кабелей, что было абсолютно бессмыслицей, и по одной-единственной причине – пульт для новой модели не годился.

Утренний разговор с мужем не выходил у нее из головы. Почти решившись сначала, во время разговора, теперь, по прошествии двух часов, она колебалась – принимать ли его предложение, потому что, хотя он и предложил ей поехать одной, она знала – он был бы рад, если б она отказалась, АОНа и без того чувствовала себя достаточно виноватой перед ним, чтобы огорчать его еще. Но на всякий случай Кира решила закончить чертеж сегодня и с утра, рассказавши руководителю группы, толстому и рыхлому Петру Семенычу, с очками, съехавшими к кончику рыхлого носа, свою обязательную порцию анекдотов, которыми он обкладывал, как данью, сотрудников, не отрывалась от кульмана.

– Бог в помощь, – услышала она за спиной сипловатый голос и, обернувшись, увидела Надежду.

– Ты что это? – изумилась Кира. – Тебя по голосу и не уэнять.

– Шуточки моего любовничка... – Надежда коснулась легко Кириных губ, обдав ее тонким косметическим ароматом кремов и дорогих духов, прошла к столу и села на него, приняв ту особенную, небрежно-вольную позу, в какой сидят манекенщицы на фотографиях иллюстрированных журналов: одна нога – на весу, другая – носком туфли касается пола. – Почему-то считает: если у него машина, так он – уже все, мужчина, разлюбить которого – ну никак нельзя. Представляешь?

Она была в коричневом брючном костюме, только что начавшем входить в моду, в коричневых лаковых туфлях с широкой, отделанной серебром пряжкой, ногти у нее, чтобы не мешать работать на машинке, были не длинные, но обработанные с тщательностью и чистотой, которые могла дать только «свой» маникюрный мастер. Волосы Надежда опрыскивала лаком, и легкий – словно растрепались от ветра – специальный беспорядок прически, схваченный невидимой, прочной паутиной лака, подчеркивал в ее красивом лице с большим раствором серых спокойных глаз, чуть подведенных сверху карандашом, так нравящуюся мужчинам в знающих себе цену женщинах мягкость и покладистость характера.

– Ну, насчет любовничка твоего – представляю, – сказала Кира, улыбаясь. – А с голосом-то у тебя что все-таки?

– Шуточки, я же говорю. – Надежда открыла ящик Кирино стола, увидела сигареты, удовлетворенно кивнула: – Ага... Выволок вчера из дому – у меня стирки полная ванна замочена, – не верит, что все, кончено, не понимает – как это так может быть. В машину – и за город: поговорить надо. Что, говорю, говорить: ну, любила, ну, прошло. Нет, не понимает. Три часа на обочине простояли. Надоело. «Спать, говорю, хочу. Вези домой». А он тогда... Шторки на окна, прежде чем приехать за мной, сделал, представляешь? Все продумал, зараза. Ну, выскочила я, а доож-дь!.. Выскочила – иду. Думаю, сейчас догонит. Садись, скажет. Фиг! Мимо на полном газу – я и рот раскрыла. И ночью-то, под дождем, ни одной машины сорок минут, с моим горлом...

– Ладно, – Кира наклонилась, взяла сигареты. – Пошли покурим.

Они вышли в коридор и пошли к лестнице, чтобы спуститься на второй этаж. Для «курклуба» облюбовано было место в другой стороне коридора – у большого, во всю стену окна, в некоем подобии холла, образовавшемся при перекройке внутренней планировки, куда завхоз, смилостивившись, поставил десяток стульев и два журнальных стола, но Надежде как секретарю главного конструктора нужно было себя блюсти, и они всегда, курили на втором этаже, на сцене конференц-зала, за задернутым занавесом.

Навстречу им, от узкого промежуточного стыка лестничных маршей, придерживаясь рукой за перила, поднимался мужчина. Он шел, глядя себе под ноги, но, заслышав сверху шаги, поднял голову, и, встретившись с ним на мгновение взглядом, Кира заметила напряженную испуганность, мелькнувшую в его блестящих живых глазах.

– Добрый день, Надюша, – поклонился он Надежде, и когда снова посмотрел на Киру, чтобы поздороваться и с нею, того выражения испуганности, удивившего ее, в глазах у него

уже не было. Но его быстрое «добрый день» ей прозвучало неестественно вежливо – будто он знал Киру и что-то имел против нее.

– Слушай, Надюш, – сказала Кира, думая о том, что, может быть, действительно знакома с этим мужчиной, иначе отчего он так странно взглянул и странно так поздоровался. – Слушай, ты мне о путевке какой-то позавчера говорила...

– Хватилась! Все уже. Отказалась – с руками ее оторвали, еле умолила вернуть.

– Что вернуть? – спросила Кира. Едва она упомянула про путевку, мужчина, прошедший им навстречу, забылся, словно его и не было, и все случившееся нынешним утром снова, как спроецированное на белый холст экрана, высветилось в памяти, она вспомнила, как сидел Николай с чашкой кофе в руках, ссутулившись, прижав широкий свой костистый подбородок к ненатуту затянутому узлу галстука, как он внимательно и добро смотрел на нее и встал потом мыть посуду...

– Как – что вернуть? – сказала Надежда. – Руки, вот что. Пахломов тебя смутил? Пахломов его фамилия. Из нашего, из горнорудного отдела. О тебе, кстати, опрашивал у меня – в столовой как-то сидели, ты вошла. Славный парень. Волейболист.

– Господи! – сказала Кира. – Да ведь я же любила его!

– Пахломова?

Кира не ответила, махнула рукой. Они вошли в конференц-зал, включили свет на сцене и сели в старые кожаные кресла, стоявшие в глубине ее, возле пожарного выхода.

– Подожди, Кира, – сказала Надежда, разминая сигарету. – Ничего не понимаю. Кого ты любила?

Кира сидела с раскрытым коробком спичек в руках и смотрела на Надежду.

– Ну? Не понимаю – кого? – повторила Надежда.

– Да мужа, мужа своего, Надюш. Светопреставление прямо было...

– А-а, – Надежда засмеялась, взяла у Киры спички, зажгла огонь, заставила ее прикурить и прикурила сама. – А я-то подумала... – Она придвинула свое кресло вплотную к Кириному и, шурясь от дыма, внимательным своим спокойным взглядом некоторое время смотрела на нее. – Ну, вот этого своего я тоже любила, ну и что? И тоже разлюбила, и что же я теперь – плакать должна? Пусть он плачет.

– Ты – одно...

– А ты – другое? Конечно. Но оттого, что ты терзать себя будешь, что-нибудь изменится?

– Да мне ведь для себя, Надюш, любить-то его надо. Понимаешь?

Кире стало плохо от сигареты, она загасила ее, повертела в пальцах, не зная, что с ней делать, и сунула обратно в пачку.

– Я тебя, Кирочка, понимаю, – сказала Надежда, забрасывая ногу за ногу и поддергивая вверх брюки, чтобы не вытягивались на коленях. – Как будто у тебя одной так. Этот вот, мой-то, пристал ко мне вчера, а и не думает, наверное, что мне самой – хоть вешайся. Я б рада его, дурака, любить – ан нет. Как с белых яблонь дым. И такая тоска, такая тоска теперь... Да слава богу, не пять мне лет, переживу эту тоску, знаю: влюбиться в кого – и как живой водой окатит. Тем и спасешься. – Она глубоко затянулась и медленной струйкой, шурясь, выпустила дым. – Перемена декораций, Кирочка, вечное обновление – другого нет. Замуж меня – арканом тяни, не пойду. Хватит, побыла раз. Собственно, я не против, но зачем? За плохого не выйду, доставлять горе хорошему человеку?

– Ну ладно, Надюш. – Кира была уже не рада, что дала разойтись этому разговору. Они сошлись с Надеждой давно, едва Кира начала работать здесь после института, считали себя подругами, и Надежда часто бывала у Киры дома, но всегда непонятное что-то удерживало Киру от обсуждения с нею своих личных дел. И сейчас она пожалела, что не удержалась, и хотела прекратить разговор, но, опершись о подлокотники, вместо того чтобы подняться, чув-

ствуя, как неестественно деревенеет голос, сказала: – Ты это все... о себе сейчас говорила. А мне-то... мне что делать?

Надежда пожала плечами, и быстрая улыбка, как след мелькнувшей невысказанной мысли, пробежала по ее красивому лицу.

– Ты уж это сама решай.

– Конечно. Конечно... – Кира двинула креслом и встала. – Где там моя недокурная?

Она чиркнула спичкой, затянулась, но сразу же выдохнула дым.

– Нужно, Надюш, работу иметь любимую, вот что. Ею и жить. И чтобы все остальное – у нее в подчинении.

– Фу! – махнула рукой Надежда. – Фу, Кирочка... Какие-то эмансипаторские идеи девятнадцатого века...

Кира быстро взглянула на Надежду и отвела глаза. Казалось, она не расслышала ее слов.

– Вот только работу свою я... так... не очень. Жаль.

– Ну так найди себе такую. Чтобы очень. Найдешь? Попробуй. Талантов у тебя особых нет. Закончила школу, пошла в институт. Чему обучили, то и делаешь. Какое уж тут творческое горение...

– Господи! – сказала Кира. – Да не могу я так больше.

Надежда дождалась, пока сигарета у Кире дотлеет, взяла ее и потушила.

– Пойдем. А то главный-то мой, наверное, как Зевс-громовержец уже там. Молнии мечет. А тебе – в отпуск, прямо завтра же. Путевок нет сейчас, поезжай куда глаза глядят. Получи отпускные – и на первый попавшийся поезд. Отдохни. Поживи одна, а там видно будет. К отцу, в родной город свой поезжай.

– У отца-то как раз и не отдохнешь. Держаться надо. Притворяться... Ладно, пойдем.

Они выключили свет на сцене, спустились в зал и, миновав его, вышли в коридор. На лестничной площадке, прислонившись к перилам, стоял, словно ожидая кого-то, тот, попавшийся им давеча навстречу мужчина.

– Все по коридорам, Пахломов, – сказала Надежда. – Когда вы деньги зарабатываете?

Он не ответил на шутку, только пожал плечами, улыбнувшись, взгляд его на мгновение прыгнул с Надежды на Киру, и снова Кира заметила что-то странное в его живых черных глазах, когда он посмотрел на нее. Со следующего марша она взглянула вниз, – он стоял вполборота к ним, виден был твердый, угловатый рисунок его черепа, отчетливо проступавший из-под коротко, по-спортивному остриженных волос, спокойный, чуть рыхловатый профиль с черно блестящим на свету пятном зрачка, но непонятно было – видит ли он их.

– А в волейболисте твоём... есть, знаешь, приятность какая-то.

– Моем? – сказала Надежда, искоса глядя на Киру.

Вернувшись к себе в комнату, Кира установила доску кульмина в положение, удобное, чтобы писать спецификацию, и проработала, не отходя, до самого звонка на обед.

4

Разговор с женой задержал Николая, и когда он пришел на работу, планерка у начальника отдела уже началась. Взяв из стола папку, бумаги которой могли понадобиться, поклонившись на ходу секретарше, он толкнул сделанную на современный манер, покрытую светлым лаком дверь кабинета с табличкой золотом по черному: «Начальник отдела НОТ Л. П. Яровцев». В небольшой, но казавшейся очень объемной из-за окна, занявшего всю наружную стену, комнате за таким же светлым и лаковым, как дверь, «совещательным» столом сидели все руководители групп, а за приставленным перпендикулярно этому совещательному, старомодным, обтянутым зеленым сукном письменным, вытянув по нему далеко вперед руки с обращенными вниз ладонями, в коричневом легком костюме и светлой рубашке, неплотно стяну-

той у ворота галстуком, отдельно от всех сидел Яровцев, и большое, холеное, белое лица его было спокойно-бесстрастным.

Не прерывая отчитывавшегося руководителя группы, он поймал взгляд Николая, когда тот пробирался на свое место – третье от стола начальника со стороны окна, – покачал головой, укоризненно улыбаясь, показывая золотой зуб, тесно сидевший в ряду остальных, естественных и крепких, и постучал по часам. Николай тоже улыбнулся в ответ, развел руками, как бы говоря – виноват, извините, больше не буду, и сел на свое место.

Ему нравился Яровцев, нравилось его большое несколько высокомерное, холеное лицо, эта спокойно-бесстрастная маска, которую он надевал на себя, входя на подведомственные ему площади отдела, – именно таким и должен быть руководитель: и добродушно-демократическим, отечески-доступным, понятным, и в то же время глубже, осведомленнее своих подчиненных, куда как лучше понимающим все детали их рабаты. Нравилась Николаю и его манера одеваться: всегда по сезону, всегда в отглаженных свежих рубашках, всегда при модном, изысканной расцветки галстуке – в этом чувствовался твердый накат жизни, ее упорядоченность, основательность, несуетливая прочность достигнутых жизненных высот, и невольно он подражал начальнику отдела: и сшил летний костюм, и носил галстук в такую жару – все из-за того, что так делал Яровцев.

И Яровцев тоже выделял Николая. Другому руководителю группы за опоздание на планерку досталось бы по первое число, – Яровцев прервал бы говорившего, неторопливо сцепил белые халеные руки, поросшие светлым курчавым волосам, в замок и сказал вошедшему, бесстрастно глядя на него из-под крупных, тяжелых век: «Я думаю, что эта в первый и последний раз. Вы пришли – значит, больны не были, а планерки у нас, если я не ошибаюсь, не каждый день. И ведь не для удовольствия Яровцева они праводятся. Так?» У Николая же с Яровцевым сложились те служебно-дружеские отношения старшего с младшим, когда младший, при всем различии возрастов и положений, допускается на равных в любые сферы жизненных и служебных дел старшего, когда старший видит в младшем как бы преемника, продолжателя, живое воплощение тех самых нравственных и деловых качеств, которые сам он всю жизнь полагал главными в человеке. И если бы не Яровцев, Николай понимал, руководителем группы в свои двадцать восемь лет ему не стать.

В глазах сослуживцев он являл собой яркий пример удачника, счастливца – человека, к которому фортуна относится с чрезмерной благосклонностью, но Николай знал, что он не удачливый, а просто добросовестный, ну, и немного способный к тому же человек. Просто ему нравилось хорошо делать то, что ему нужно было делать, – не из желания получить благосклонную похвалу начальства, как дрессированная собака в цирке после удачного исполнения номера – кусок сахара, а из врожденной любви к основательности и добротности. Ему повезло лишь в том, что начальником отдела оказался не другой какой человек, а Яровцев...

Планерка шла своим ходом. Николай выступил, проинформировал о делах в группе. Уточнили план работ на предстоящую неделю, определили, чем заниматься в первую очередь, чем во вторую, кому что поручить. И Яровцев, все с тем же служебно-бесстрастным выражением лица, оторвал ладони от стола, поднял руки, словно сдавался в плен:

– Все, товарищи. Свободны. А вы, Николай Андреевич, задержитесь.

Дверь кабинета закрылась, Яровцев нагнулся, выдвинул ящик стола и вынул серый кирпичик книги в ледериновом переплете, протянул его, улыбаясь, Николаю:

– От одного из авторов. Надеюсь, не откажете ему в удовольствии сделать такой подарок?

– Спасибо, Леонид Пантелеймонович. – Николай взял книгу, раскрыл ее – на титульном листе ровным, закругленным почерком Яровцева было написано: «Дорогому Николаю Андреевичу Касьянову – по-дружески». Николай раскрыл книгу посередине – бумага была белая, гладкая, отдававшая глянцевым блеском, – провел по странице ладонью и, чувствуя, как растягиваются в глупой, счастливой улыбке губы, повторил: – Спасибо, Леонид Пантелеймонович...

Ему была приятна надпись, и горячо, остро давило где-то под сердцем от благодарности, любви к Яровцеву – так случилось, когда Кира, которую проводил до дверей общежития, вдруг встречала его в подъезде дома, с блестящими, оживленными, уклоняющимися от ответа – как она здесь очутилась? – глазами, целовала, крепко обхватив его обеими руками за шею, быстрым твердым поцелуем в губы и выбегала на улицу, где ожидало ее такси. Ведь мог и не Яровцев оказаться начальником отдела, и тогда все то, что отличало тебя от остальных, поднимало над ними – твоя добросовестная основательность во всем, что ни делаешь, неспособность не довести дело до логического его конца, до последней, исчерпывающей, подводящей полный итог точки, – могло быть и не замечено, принято за кротовью кропотливость исполнителя, а чем тебя называли, тем ты и сам себя скоро почувствуешь: коли груздь – полезай в кузов, так ведь.

– Ну, Николай Андреевич, мне приятно, что вам приятно, – засмеялся Яровцев, показывая свои ровные крепкие зубы с единственным искусственным среди них – желто и дорого блестевшем на ярком, ослепительном июльском солнце. Как у вас с рефератом, не известно ничего пока?

Николай отодвинул стул от совещательного стола, сел и положил перед собой папку с бумагами, которую прихватил на всякий случай, и на нее – подаренную Яровцевым книгу.

– Нет, пока ничего.

– Ну, я думаю, все будет в порядке. Тема очень интересная и интересно раскрыта. А кроме того, должно же сыграть роль, что вы поступаете по личному предложению...

– А не выйдет, так не выйдет, – перебил Николай Яровцева. – На нет и суда нет.

– Э! – поднял руки и качнул головой Яровцев. – Это вы напрасно, Николай Андреевич. Нечего себя настраивать так. Не выйдет, так не выйдет... Что это за настроение?

– Да это не настроение...

– Вот и слава богу. Аспирантура нынче нужна, Николай Андреевич. Она вам и знания в систему приведет, и научит еще кое-чему – это одно. А самое главное – звание даст. А звание – это уже некий капитал, помещенный беспроигрышно и дающий проценты. Вы меня знаете, не поймете превратно. Не в том дело, что звание дает деньги, а в том, что не приковывает к месту, не нужно с ним карьеру делать – лезть по этой проклятой служебной лестнице. Со званием вам всегда обеспечено место на довольно высокой ступени. И не скатитесь вниз – исключено. Понимаете? – Яровцев откинулся на спинку кресла и, улыбаясь, сжал пальцы на обеих руках в кулаки. – Оно дает ощущение, что жизнь у тебя в руках, а не ты у нее.

– Что ж, скоро все выяснится.

– Вот и ладно. – Яровцев вновь впелонился к столу и вытянул по нему руки, жестко припечатав ладони к сукну. – С обрубным цехом давайте поторапливайтесь. В августе встреча с проектировщиками, все экономические расчеты к ней должны быть готовы. С АСУП что?

– АСУП отложена.

– Значит, задержите весь отдел.

– На следующей неделе я сам возьмусь. Не задержим.

Лившееся в окно солнце затапливало комнату целым океаном света, и Николай чувствовал себя необыкновенно здоровым, полным сил, способным тащить хоть в десять раз больше дел, чем было нагружено сейчас.

– А, ну если сами! – снова улыбнулся Яровцев, и эта его улыбка означала, что о делах разговор окончен. – Я вас, Николай Андреевич, вот еще зачем задержал... Мне бы очень приятно было, если бы вы с женой пришли ко мне нынче. Книжки-то у нас чай не каждый день выходят – событие. Будний, конечно, день, но уж... удобней так, чтобы все, кого бы хотелось мне видеть, собрались. Придете?

– Спасибо, – Николай встал, взял со стола книгу, крепко провел ладонью по корешку, разглядывая обложку. – Обязательно придем.

Он говорил шутливо, как бы подтрунивая над собою, но в груди, там, под сердцем, у него мягко и горячо сжимало от любви к Яровцеву, от благодарности к нему – за то, что замечен, выделен, оценен...

5

– Киреныш? – сказали в трубке, и Кира узнала Николая. – Как дела?

– А ничего, – ответила она. – Бегут и подгонять не надо. С Надеждой вот покурила. Ты что звонишь?

– У Яровцева вышла книга, и он нас приглашает по этому поводу в гости.

Кира вспомнила, как проходили вечера у Яровцевых, и вспомнила, что первое время ей интересно было ходить к ним, она прямо-таки рвалась туда, подзадоривала Николая – ну, давай, напросись: Яровцев снимал на слайды, на киноплёнку, два года прожил в Египте, три – в Индии, и фильмы его были интересными. Но из раза в раз повторялось одно и то же, только менялись слайды, реже фильмы, говорили о том же, о чем и на работе: о производстве, о мелких служебных заботах – вроде того, что кто-то не укладывался с заданием в срок и переживал, что будут неприятности, с особым значением – о перестановках в руководстве, заводском и министерском, – и интерес к Яровцевым у нее пропал.

– А это обязательно? – спросила она.

– Ну, это же Яровцев, – сказал Николай мягко, как будто она была неразумным ребенком, а он взрослым, терпеливо втолковывающим ей абсолютную истину.

– Хорошо-хорошо, – торопливо сказала Кира. Она вдруг подумала, что вовсе и неплохо будет сходить к Яровцевым – что это, действительно, вбила себе в голову: скучно! Ничего не скучно, сама-то, может быть, мымрой сидишь там, с тоски удавишься смотреть на тебя; оба они славные, интеллигентные люди, и так трогательна эта заботливая, материнская любовь жены Яровцева, никогда не рожавшей, к своему мужу, – вот тебе бы такой быть, и что еще надо?

Спецификация была уже закончена, Кира расписалась, вписала в штамп фамилию Петра Семеныча, руководителя группы, и стала отшпиливать чертеж от доски.

– Ну, может быть, в отпуск, Кира Ивановна? – спросил, поднимая очки с кончика носа на лоб, Петр Семеныч, когда она положила чертеж ему на стол. – Самое то времечко сейчас. В августе уже работка подойдет.

– Ой, не знаю, – сказала Кира. – Погодите немного, а? Не знаю пока.

* * *

У Яровцевых собралось человек пятнадцать, большинство уже пожилые, утвердившиеся в жизни, осевшие на своем месте в ней, при постах, при положении, и Кира видела что Николаю лестно и приятно быть среди них. Он сидел, навалившись на стол, свободно, без стеснения расставив по нему локти, тяжело, неспешно поворачивал голову в сторону гоаорившею – слушал и сам говорил своим глуховатым глубоким голосом, и Кира прямо физически ощущала, какой притягательной, завораживающей силой обладает его неторопливый, даже несколько медлительный склад речи, огаядывалась украдкой и замечала, что и все испытывают то же: напряженное, острое внимание угадывалось в глазах у каждого, и смолкали мгновенно все отдельные разговоры, словно на огонь выплескивали воду. Прожившие жизнь, обремененные грузом своих собственных представлений и взглядов, поселившихся и окостеневших в них помимо их воли и желаний, посредством усвоения жизненного опыта, эти люди, занимающие посты, возглавлявшие государственного значения дела, принимали его как равного, он, мальчишка по нынешним понятиям, недавнешний студент, мелкая сошка, если брать служебное положение – какой-то руководитель группы! – мальчишкой для них не был. Но это не радовало Киру, не

наполняло ее гордостью за мужа: ясно, что не мальчишка, как же иначе? – такое ее радовало на первом году их жизни.

Яровцев, в белой хлопчатой рубашке с закатанными по-летнему рукавами, со светлым летним галстуком, слегка приослабленным. чтобы расстегнуть верхнюю пуговицу, слушал Николая с отечески-благословляющим лицом, приоткрыв рот, словно собирался прийти на помощь в какой-нибудь затруднительный момент, а жена его, сидя рядом, поглядывала на мужа с такою же ласковой, как у него, только несколько покровительственной, улыбкой – улыбкой матери, любящей сына, сознающей его взрослость и понимающей, что истинным знанием он еще не владеет. На ней было длинное, сливового цвета платье с яркими, красно-фиолетовыми крупными цветами; широкий, с огромной кованой пряжкой лоснисто-фиолетовый пояс перехватывал ее в талии – у нее была хорошо сохранившаяся фигура двадцатипятилетней женщины. Специально выкрашенные в седой цвет волосы были уложены крупными тугими локонами – эта жесткая, металлическая седина не старила, а наоборот, молодила ее, возраст ее стушевывался, замирал где-то возле сорока.

– Я думаю, – говорил Николай, не глядя ни на кого, сосредоточенно, словно это-то и было главным в том, что он сейчас делал, отталкивая от себя пальцем к середине стола крошки хлеба, – я думаю, что мы неверно понимаем некоторые принципы обязательной экономической эффективности всех нововведений. Только что вот моя группа закончила просчет одного такого нововведения. Карты в руки тем, кто стоит против него, – неэкономично. Ректификация воды будет нам стоить намного дороже, чем если бы использованную сливать, немного очистив, и брать новую. И вот я знаю, – он поднял глаза и кивнул в сторону Яровцева, – Леонид Пантелеймонович будет со мной согласен, нужно ставить ректификационную установку, а ничего мы с ним не сделаем: неэкономично. Экономично будет через десять лет, когда чистую воду неоткуда взять будет. И ни с какой линейкой мы не сможем доказать, что установку надо ставить сейчас – пойдешь докажи, высчитай убытки, которые мы через десять лет понесем, ставя ее!.. А ведь одно дело – сразу, другое – когда цех работает.

– Да, у нас удивительное есть качество, – причмокивая, согласно закивал зам. главного конструктора одного из отделов завода – лысый, обрюзглый, с вечной синевато-седой щетиной на щеках. – Удивительное качество: о завтрашнем дне говорим черт-те сколько, а как до дела – дальше сегодняшнего заглянуть не желаем.

Яровцев легким веселым ваглядом окинул стол и, сделав глоток из бокала, засмеялся.

– А у меня вот в молодости, знаете, случай был. Я большим специалистом по расчетам сварных металлоконструкций считался. Тогда это фантастически трудное было дело – высшая математика, специалистов – раз-два – и обчелся, думал – до конца жизни я сыт-обут. И вдруг на тебе: пришли более молодые ребята, поварили мозгами – и составили таблицы, и какие уж я убытки потерпел, заново себя как специалиста монтируя, – и сам, ей-же-ей, не знаю.

За столом захохотали.

– Ничего, ничего, удачно смонтировался, – пересиливая смех, сказал, причмокивая, зам. главного конструктора.

Жена Яровцева взяла мужа под руку и прижалась щекой к его плечу.

– Леонид Пантелеймонович у меня клад, а не муж. Наисамокритичнейший мужчина. Женщины могут позавидовать.

«Вот, – говорила себе Кира, искоса, незаметно глядя на нее, – что тебе не быть такой? Что? Ведь сколько лет вместе – пропасть, а как она глядит!»

Играла музыка в соседней комнате, Кира танцевала, разговаривала, смеялась, и ей даже доставляло удовольствие галантное стариковское ухаживание одного из гостей Яровцева – маленького сухонького профессора политэкономии из Политехнического института; когда-то она слушала его лекции и сдавала ему экзамен. Но все это в то же время ощущалось ею как некая внешняя, не имевшая действительного, подлинного отношения к ней жизнь, словно бы

жизнь какой-то внешней, несущественной ее оболочки; а там, внутри, Кира все ждала, все ожидала чего-то, словно должно было вот-вот что-то произойти.

Но ничего не происходило. Она возвращалась на свое место за столом, вновь смотрела на Яровцеву, вновь говорила себе: «Ну, что б тебе такой?!» – а ни в ней самой, ни в течении этого вечера ничего не случалось. Все было так, как и всегда у Яровцевых – и год, и полтора, и два года назад, – все знакомо, привычно – обыденно. И когда погасили свет, и на белом холсте экрана, специально купленном Яровцевым для демонстрации фильмов, возникли серо-коричневые громады пирамид под красным предзакатным небом, когда она осталась одна – не нужно было ни говорить, ни улыбаться, ничего не нужно было делать, кроме как смотреть этот трижды уже виденный ею фильм, снятый Яровцевым, – Кира ощутила вдруг такую тоску, такую смертельную усталость, что впору показалось лечь на пол и 'завыть.

Она встала и вышла на кухню. Лампа на кухне была тоже погашена. В сумеречном свете быстро гаснувшего вечера, переходившего в ночную темень, она пробрела к окну и встала возле него, опершись вытянутыми пальцами о подоконник. Вдруг она почувствовала, что на кухне есть еще кто-то, повернулась и увидела, что у дальней боковой стены, за холодильником, в узком пространстве между стеной и этой белой эмалированной глыбой – ннаглядным свидетельством заботы современной науки о домашней хозяйке, – на низенькой табуреточке сидит Яровцева, глядит на нее, и в руках у нее – тлеющая сигарета.

– Испугались? – спросила Яровцева. И не стала дожидаться ответа. – Что, тоже неумоготу эти современные развлечения?

– Нет, так просто...

– Сигарету хотите? – Она достала из пачки сигарету и протянула, размяв, Кире. – Идиотизм какой-то. Кто, скажите мне, не видел этих пирамид? Тыщу раз в кино, да по телевизору.

– Нет, мне было интересно раньше. – Кира прикурила от протянутой Яровцевой газовой зажигалки и поблагодарила ее.

– Раньше? Ну, раньше, знаете, я не была замужем за Яровцевым, а сейчас, видите, его жена.

– Что? – Кира так поторопилась задать вопрос, что поперхнулась дымом и закашлялась. – Что? – повторила она удивленно. – Я думала, вы давно, очень долго живете.

– Это вы думали, потому что Яровцев хочет, чтобы так думали. Ему и самому уже, наверное, так кажется. Всего семь лет, Кира. Всего! Представляете? Семь! Ужас сколько! А ничего не поделаешь – держись. Сорок лет минуло – женщина должна себе найти партию, потом наши шансы, что ни день, тем дохлее. И свободной дальше быть – тоже, знаете, нет смысла...

Пепел с сигареты упал ей на колени, она наклонилась, сдула его и похлопала еще рукой. И Кира вдруг поняла, что все это: заботливая, материнская любовь Яровцевой к мужу, нежный, ласково-снисходительный взгляд – все это не более чем маска, убежище немолодой женщины, созданное ею от собственной же бесприютности.

– Зачем вы мне это говорите? – спросила Кира. – Вам плохо с ним?

– Что-о? – улыбнулась Яровцева, и в голосе ее Кира вновь услышала теплые материнские нотки, с которыми Яровцева говорила обычно. – Ах, вон вы как, Кирочка. поняли! Ах, вы!.. Я вижу – грустная вы, хотела вас разговорить. Неважно себя чувствуете, Кирочка? – Она затаилась, и в красноватом свете разгоревшейся сигареты Кира увидела ее обычную ласково-приветливую улыбку.

– Да, немно, – сказала она.

– А не ребеночек? – таким тоном, словно сама родила добрый десяток, спросила Яровцева.

– Нет, ничего такого... Я пойду, посмотрю все-таки пирамиды эти. – Кира затушила сигарету, встала и вышла из кухни.

В дверях комнаты, темноту которой прорезал пыльный сноп света, она остановилась. «Господи, – сказала она себе. – Господи! Да ведь нельзя же так дальше...»

6

Когда Кира сходила с трамвая у Центральных касс, она вспомнила, что этого человека в белой полотняной кепке, натянутой на самые глаза, маленького, с длинными, густо поросшими черным волосом руками, она уже видела сегодня – возле своего дома: вышла из подъезда, а он сидел на скамеечке, поставленной в газоне под кустами акации, и читал газету. И вот сейчас он вышел из того же трамвая, в котором ехала она, только с задней площадки.

Она не углядела в этом ничего подозрительного, только отметила про себя, какие странные, рассказы – не поверят, пересечения путей случаются иногда. Но когда она вошла в прохладное, гулкое помещение касс и встала в очередь, то вдруг почувствовала затылком, что он, этот человек, тоже здесь, обернулась – и оказалась лицом к лицу с ним: скрестив свои мохнатые руки на груди, с зажатой в левом кулаке смятой газетой, он стоял в очереди следом за ней.

– Что вам нужно? – спросила она резко.

– Мне? – удивленно ткнул в себя пальцем мужчина и огляделся кругом, словно желал удостовериться, что он действительно в помещении касс. – Билет. А в чем дело?

Стоявшие впереди уже оглядывались на них, с любопытством и тайным желанием стать свидетелями скандальной сцены, а удивление мужчины было до того искренним, что Кира смутилась.

– Простите, – пробормотала она.

Минут через сорок подошла ее очередь. Кассирша связалась по телефону с диспетчером и, постукивая ручкой по столу, стала ожидать, когда ей назовут вагон и место. И тут мужчина, стоявший за Кирой, буквально оттер ее от окошечка и весь так и приник к нему. «Двадцать третий, десятого, вагон четвертый, место шестнадцатое», – сказала кассирша, записывая, и мужчина как-то странно – словно бы облегченно – перевел дыхание.

Кира отошла от кассы, проверила на свет компостер, просмотрела билет и положила его в сумку. Мимо пружинистым шагом спортсмена, складывая на ходу хрустящие розовые листки, прошел этот стоявший за ней мужчизна и выскочил на улицу.

«Слава богу, – сказала Кира себе. – Ушел...»

Трамвая, очевидно, давно не было – на остановке натекла целая толпа. И Кира снова увидела этого человека, – он тоже стоял на остановке и что-то записывал карандашом на поле только что купленного билета. Записав, он поднял голову, столкнулся с ней взглядом, – и глаза у него стали растерянными. Он дернулся всем телом, словно собирался бежать, и вдруг повернулся и пошел на другой конец площадки.

Громыхая, подъехал трамвай. Толпа подхватила Киру и по высоким, неудобным ступеням втиснула в узкие двери. И когда трамвай, лязгнув, тронулся, Кира увидела, что этот мужчина в белой полотняной кепке садиться не стал.

7

До отхода поезда оставалось две минуты. Кира опустила окно в коридоре и стояла, положив руки на обитый резиной верх, смотрела на Николая, казавшегося отсюда, с высоты вагона, нелепо большеголовым.

– Ты похож на дружеский шарж из новогодней стенгазеты со вклеенной фотографией, – сказала она.

– Что? – не понял он и склонил голову набок, приставив к уху ладонь.

– Ничего, – засмеялась Кира. – Не сердись на меня, ладно?

Она была в том приподнято-возбужденном состоянии, которое предшествует всякому далекому пути, предпринимаемому не по вынужденным обстоятельствам, а по своей охоте, и это уже неминуемое расставание – две минуты до отхода поезда – представлялось ей теперь чем-то вроде туннеля на пути стремительно мчащегося поезда, выскочив из временной темноты которого она снова попадет в мир присутствия мужа, но не этот, нынешний, а прежний, первых месяцев их совместной жизни – мир благословенного июньского дня с яркой свежей зеленью, горячим солнцем и голубым небом.

– Ты ведь на меня не сердись, нет? – повторила она и пожалела, что перрон низкий, – ей захотелось поцеловать Николая.

– За что? – улыбнулся Николай. Он стоял, подняв к ней лицо, и глаза у него были добрые и внимательные. – Ты, если лень будет писать, Киреныш, звони. С Главпочтамта, наверное, есть автоматическая связь, так что все это очень просто,

– Хорошо, хорошо, – сказала Кира. – Там увижу, как лучше.

Николай улыбнулся, и по тому, как он улыбнулся – словно она была ребенком, не понимающим какой-то абсолютной истины, а он взрослым, терпеливо-снисходительно прощающим ей непонимание, – Кира вдруг ощутила, что он легко, спокойно, как к чему-то должному относится к этому первому их настоящему расставанию. Она со страхом подумала, что сейчас придется испытать острое и мучительное чувство обиды... Так, в ожидании этого, прошла минута, но никакой обиды в ней не появилось.

– Я тебе буду писать, – сказала она.

За спиной у нее кто-то остановился, всхлопнула замком дверь и завизжала роликом, – Кира поняла, что вошли в ее купе, но не оглянулась. Поезд тронулся. Николай, махая рукой, пошел вслед за вагоном, одновременно он отходил от края платформы вглубь, чтобы его дольше было видно, теперь Кира смотрела на него уже не сверху вниз, – и он не казался таким несимметрично большоголовым. Утренний ветерок шевелил его светлые рыжеватые волосы, и весь он, в своем легком светлом костюме, с хорошо подстриженной головой, с выражением, мягкой, недокучной озабоченности на лице, был воплощением умеренной, разумно организованной жизни, в которой тепло и уютно будет любой женщине, если он примет ее туда. Поезд набирал ход, вагон плавно и сильно покачивало, временами Кира уже теряла Николая в толпе провожающих, и вот край окна наехал на перрон – и скрыл его.

Кира повернулась и вошла в купе. Двух пожилых, шумных женщин-товароведов из ресторана она уже видела, познакомилась с ними, а третьим попутчиком был мужчина – тот, кто зашел в купе перед самым отправлением. Женщины, нагнувшись над проходом, вынимали из огромной, похожей на сетчатый мешок авоськи какие-то сверточки банки, пакеты, полиэтиленовые кульки с едой, а мужчина сидел на Кириной полке, у окна, чтобы не мешать им распаковываться, и рядом стояла его большая дорожная сумка.

– Извините, – увидев Киру, в каком-то смущении, почти растерянности сказал мужчина и стал выбираться из-за стола на проход. – Я занял ваше место... я хотел достать бы тут кое-что сразу, а потом уже и поднимать наверх...

– Да бога ради. Сидите. – Что-то знакомое почудилось Кире в его лице, в его черных живых глазах, в этом выражении напряженной испуганности, промелькнувшей в них, когда он взглянул на него. – А где-то я вас видела, а?

– Д-да... – Он все же выбрался в проход, и они сейчас разговаривали, стоя над спинами товароведов. – Мы работаем в одном здании, я вас видел с Надеждой...

«Пахломов», – вспомнила Кира.

– Ну, будем тогда знакомы. – Она подала ему руку, назвалась. И когда он брал ее руку в свою – у него дрожали пальцы.

– Сергей, – сказал он.

И вновь во взгляде его она уловила знакомое – словно он затаил что-то против нее, – и удивилась, как могла упомянуть все это за одну лишь мимолетную встречу.

Ровно и мягко покачивался вагон, за окном уже проплывали окраины, промелькнула платформа пригородной станции с толпящимися на ней людьми.

– В командировку? – спросила Кира.

– Нет.

– Отпуск?

– Отпуск. – Он стоял, взявшись за поручень, огораживавший окно, прислонившись к простенку между окнами, и в глазах его была смущавшая Киру напряженность.

– И куда же?

– В Таллин.

– В Таллин? – переспросила Кира и засмеялась. – Но почему же в Таллин?

– Ну потому что хочу, – тоже улыбнувшись, сказал Пахломов. Улыбка у него была открытая, светлая, и Кира подумала, что вот именно такие мужчины нравятся Надежде: она любит в них то, чего ей недостает самой, – способность к искренним чувствам и неумение скрывать их.

– Выходит, мы попутчики? Я тоже в Таллин.

Пахломов, улыбаясь, пожал плечами:

– Как вы, не знаю. А я ничего не имею против.

Кира снова засмеялась.

– Я тоже. Будет кому чемодан таскать. Не откажете ведь даме?

– Ну уж, как отказать! – поднял вверх руки Пахломов, и черные его, быстрые глаза, заметила Кира, были возбужденно-блестящи.

* * *

На остановке такси, когда Кира с Пахломовым вышли на площадь, была уже очередь. Они пристроились в хвост, и как только встали, одна за другой подъехало несколько машин, так что они продвинули свои чемодан и сумку на целый метр, но потом такси перестали появляться, и за полчаса не подошло ни одного.

– Ну, знаете что, Сергей, – сказала Кира, замечая краем глаза, как минутная стрелка на вокзальных часах прыгнула еще на одно деление. – Поеду-ка я трамваем. У меня тут все подробно расписано – как, куда, – не пропаду.

Она достала из сумочки лист бумаги и развернула его.

– Свернуть за угол – второй номер трамвая, сойти на четвертой остановке. Пройти обратно, до улицы, по ней – до кафе «Нарва», свернуть налево, автобус первый, до остановки «Айя». Видите, как ваша Надежда все подробно расписала.

– Моя? – Пахломов улынулся. – Мне она, однако, так не расписала. Что ж, пойдемте, посажу.

Он взял ее чемодан и свою сумку, они оставили очередь и пошли вдоль здания вокзала к трамвайной остановке, угадывавшейся за углом по приглушенному трамвайному треньканью звонков и лязгу колес. Справа, на горе, возвышались башни Старого города, с островершинами, крытыми черепицей крышами, и реальная близость этой чужой, незнакомой архитектуры наполняла Киру ощущением нереальности всей ее прежней жизни.

Подошел трамвай – ярко-желтый, как коробка из-под леденцов, с непривычно короткими и узкими вагонами, – Кира поднялась, Пахломов подал ей чемодан и тоже поднялся.

– Слушайте, – сказала Кира. – Мне неудобно. Я сама доеду, а вам ведь тоже надо...

Но он уже достал монеты и проталкивал их в узкое отверстие кассы.

– Мне туда же, куда и вам.

Кира испытующе посмотрела на него – он улыбался так же, как всегда, открыто и возбужденно, – и она поверила. Да собственно, вспомнила она сейчас, Надежда говорила, что все прижающие снимают комнаты в двух районах – Пирите и Меривялье, – и расположены они на одной линии, один за другим, вдоль по побережью.

– Вы где будете жить? – спросила она. – В Пирите? В Меривялье?

– В Таллине, – сказал он.

– Положим, что все это Таллин.

– Вот я и говорю, – улыбнулся Пахломов. Трамвай заскрежетал тормозами, дернулся и начал останавливаться. Динамик откашлялся и женским голосом, в потрескивании и шумах, произнес что-то полногласное и непонятное. Кира вдруг вспомнила, что забыла считать остановки.

– Это какая? – испуганно спросила она.

– Наша, – сказал Пахломов. – Четвертая.

Они сошли, и Пахломов снова подхватил чемодан и сумку, а Кира развернула свой «путеводитель» и прочитала: «Пройти обратно, до улицы, по ней до кафе «Нарва», свернуть, налево...»

– Обратно уже прошли, – сказал Пахломов. – А вон и кафе. Сколько слов, а всего-то два шага.

– Чтобы я лишнего со своим чемоданом не ходила. Надежда ведь не знала, что мне его будут нести.

Пахломов не ответил.

Дорога шла берегом залива. Из мелкой, бутылочно-серебристой воды выглядывали верхушки камней – их были тысячи, от огромных горных валунов до едва различимых глазом, они казались спинами каких-то неизвестных, сунувших головы под воду и замерших животных. Побережье изгибалось дугой, и в черной далекой зелени были видны белые коробочки домов, карабкавшихся в гору, и видна была белесо-желтая полоска пляжа с еле угадывавшимися фигурками людей. Кира смотрела в окно и не разговаривала с Пахломовым, и даже забыла о нем. Лишь когда дорога отошла от берега, и автобус въехал на площадь, кругло ограниченную со стороны залива белым двухэтажным зданием с колоннами, и водитель произнес в динамике полногласное: «Пирите», – Кира вспомнила, что Пахломов так и не сказал, где же он собирается жить.

– Сначала я посмотрю, где устроитесь вы, – ответил он. – А потом, вы сами попросили, чтобы я носил ваш чемодан, не отказал даме.

Он говорил с улыбкой, прибарабанивая пальцами по поручню переднего сиденья, но его нежелание говорить о будущем своем жилье было слишком настойчиво, это и насторожило Киру.

– А может быть, у вас вообще ничего нет, а? – спросила она.

– У меня двадцать два адреса наверняка и тридцать три, где примут с распростертыми объятиями, – сказал он, и Кира окончательно поняла, что никакого адреса у него нет.

– Как же вы собираетесь устраиваться? – спросила она и услышала, что в голосе ее прозвучал чуть ли не ужас. – Сейчас самый сезон, июль – вы ничего не снимите.

Пахломов снова забарабанил по поручню.

– Не надо, пожалуйста, не волнуйтесь так. Ну, не надо. – Он повернулся и взял ее руку в свои ладони. – Экая беда, скажите на милость!

Кира заметила, что, как и в тот раз, когда они познакомились, пальцы у него дрожали.

– Да вы же действительно не найдете комнаты, – сказала она, отнимая руку. – Никто здесь не сдаст вам без рекомендаций, это ведь не Кавказ. И если бы я тут знала кого!..

«Айя», объявил водитель, и Пахломов вскочил, подхватил багаж, пошел к выходу.

Больше Кира не спрашивала его, как он думает устраиваться. До улицы Лодьяпуу оказалось четыре квартала пыльной каменистой дорогой в гору, Пахломову было явно тяжело с чемоданом и сумкой, она взяла у него сумку, которая была полегче.

Наконец они поднялись.

– Подождите меня здесь, не уходите, – попросила Кира, сама еще не зная, для чего она это делает.

Она прошла за ограду, позвонила в дом. Ей открыл седой старик с загорелым красным лицом, в желтой тенниске, в вельветовых шортах, и Кира представилась.

– Йа, йа, – закивал старик, улыбаясь и сторонясь. – Константин Александрович. Проходите.

По узкой прохладной лестнице с масляно блестящими свежей краской ступенями они поднялись на второй этаж, и Константин Александрович провел Киру в небольшую, тоже прохладную, со вздувающимися шторами на распахнутом окне комнату.

Они договорились о цене, о смене постельного белья, о посуде, он показал место, где готовить еду, и собрался уходить, спуститься к себе вниз, но Кира остановила его.

– Константин Александрович, – сказала она, – вот со мною тут мой товарищ, мы с ним из одного города, у вас комнаты для него свободной не найдется?

Одна из трех комнат второго этажа освобождалась через день, и с согласия остальных квартирантов Константин Александрович разрешил Пахломову эти две ночи спать на раскладушке в коридоре.

8

Ночью море выбросило на берег водоросли. Подсушенные солнцем грязно-зеленые лохмотья лежали на границе прибоя по всему пляжу, и от них пахло йодом. Местные мальчишки сгребали водоросли граблями в кучи, складывали на носилки и куда-то уносили – зарабатывали себе на мороженое и кино. Они были в шортах и надетых на голое тело рубашках, чтобы не обгореть, – как в униформе. От грабель на мокром, укатанном прибоем песке оставались волнистые бороздки.

Температура воздуха двадцать пять, температура воды двадцать один, гласили вставные бумажные карточки в оконцах на деревянной доске, вывешенной на приземистом, длинном строении раздевалок. Кира вошла в воду – у самого берега она была куда теплее этих двадцати одного, теплая до невозможного, песок здесь намыло малюсенькими твердыми дюнами, и это ребристое, словно стиральная доска, дно щекотало ступни.

Глубина начиналась метров за сто, у красных, сваренных из толстого листового железа бுவ, с хлопаньем воды об их гулко-пустые тела и лязгом якорной цепи покачивавшихся на мелкой, неторопливой волне. Кира затаила дыхание, легла, разбросав руки в стороны, лицом в воду, – в желтовато-зеленой переливающейся мгле видно было начало цепи, терявшейся в этой светлой, наполненной светом глубине, плавали разлохмаченные куски водорослей и белесая взвесь планктона. Ноги стало уводить вниз, Кира рывком бросила руки вперед и нырнула, чтобы ухватиться за цепь у самого дна, но дыхания не достало, и она вынырнула на поверхность полузадохшаяся и с режью в глазах.

Вода здесь, на глубине, была уже не такая теплая, как у берега, но тело быстро привыкло к ней, холода не чувствовалось и не хотелось выходить. Пахломов ждал Киру на берегу, возле взятых им напрокат надувного матраса и шезлонга, он не пробовал пойти вместе с нею, и она была ему благодарна за это – ей хотелось быть одной.

Отсюда, от буй, ей виден был весь пляж, узкой желтой полосой тянувшийся по кромке залива, два корпуса раздевалок с коричневыми дверями индивидуальных кабинок, домик проката; прибрежный сосновый лес прижимал местами узкую полоску песка почти к самой воде,

но местами отступал довольно далеко, и эти отступы казались залысинами в его мшисто-зеленых лохмах. Наконец Кира вышла из воды, накинула на плечи махровое полотенце и промокнула концом его волосы.

– Ну как? – спросил Пахломов, приподнимаясь на матрасе и опуская к кончику носа темные очки. Он уже был красный, и Кира сказала ему: «Сгорите», – но он отмахнулся: «Я всегда так. Но не облезаю, проверено». – Ну так как? – переспросил он.

– Хорошо, – ответила она и посмотрела на него насмешливо-выжидательным взглядом: волосы были мокрые, с них капало, и она хотела, чтобы он понял – не надо глядеть на нее.

Она взяла сухой купальник и пошла к красной, сваренной из таких же металлических листов, как буй, кабинке переодеваться. Ей было неудобно и стыдно делать это – кабинка доставала лишь до плечей и была открытой снизу, Пахломов мог видеть и, наверное, видел, как она переступает ногами, наклоняет голову, и, значит, догадывался, что она делает; ей было стыдно именно перед ним: то, что она переодевалась почти на глазах у него, единственного знакомого среди тысяч людей, заполнивших пляж, – это протягивало, казалось ей, между ними какую-то нить, связывало их невидимым чем-то, она как бы позволяла Пахломову иметь на нее больше прав, чем он мог. Кира злилась на него и ругала себя, что, поддавшись непонятному чувству опеки, захотела вчера помочь ему – «Помогла на свою голову», – но вышла из кабинки, – он уже стоял с ракетками и воланом для бадминтона в руках, она взяла у него ракетку, приняла летящий на нее волан, ударила – и чувство стыда исчезло.

У Пахломова было сухое, поджарое тело спортсмена, да она и видела, что он спортсмен, – по тому, как он прыгал, гася немыслимо высокие «свечи», как бросался в прыжке на землю, поднимая явно загубленный ею мяч. Она невольно сравнивала его с Николаем, и сравнение оказывалось не в пользу мужа, – Николай был огрузлее, тяжелее, тридцать ему исполнялось осенью, а у него уже намечался живот.

– Сергей, сколько вам лет? – крикнула она.

– О-опля! – взял он в прыжке боковой мяч, встал и смахнул рукой песок с ноги. – А сколько нужно?

– Сколько не жалко! – крикнула она, следя за неустойчивым, колеблющимся полетом волана в жарком, выбеленном солнцем небе.

– Так мне и ста не жалко.

Кира села на песок, показывая, как ей смешно.

– С вами не заскучаешь.

Белый шарик волана, подрагивая оперением, мягко шлепнулся в песок возле нее, и Кира вдруг поняла, что ей ведь и действительно не скучно с ним, и было бы бог знает как тоскливо, не окажись его сегодня рядом: соседки по комнатам – две старые дряблые дамы, обе с собаками, и на море ходят только по утрам, когда можно, не опасаясь штрафа, искупать своих бульдогов...

В четыре часа они собрались уходить. Когда в металлической коробке кабинки Кира снимала с себя купальник, стряхивала ладонью песок со ступней, чтобы надеть босоножки, она вновь испытала острое чувство стыда и неловкости, но оно было мимолетно, и она не заметила, как оно прошло.

В парке Кадриорга стояла благоговейная музейная тишина, дорожки сухо скрипели под ногами белыми камешками.

Мальчик и девочка лет восьми кормили грецкими орехами белку. Белка брала с рук. Мальчик разбивал орехи кирпичом, белка от хруста скорлупы испуганно вспархивала по дереву до развилки ветвей, но дальше не шла, замирала, свесив вниз пушистый хвост, оглядывалась и вдруг стремглав бросалась к девочке, которая протягивала к ней руку с кусочками ореха, осторожно тянулась к ладони и, сняв корм молниеносным движением языка, снова вспархивала к развилке.

Они зашли во дворец, походили по его гулким прохладным залам, смотреть во дворце практически оказалось нечего, разве что красив был мозаичный, натертый до лакового блеска паркет, – и вновь по той же просторной, чудовищно широкой лестнице, словно в бельэтаж должны были въезжать в карете, запряженной тройкой, спустились вниз. Табличка у входа, не прочитанная ими прежде, сообщала, что в кладке стен дворца есть три кирпича, положенные лично Петром Первым, и они оставлены неоштукатуренными. В табличке говорилось, где находятся эти три кирпича, но они обошли дворец несколько раз, пока увидели их. Слой штукатурки был толстый, сантиметров в десять, и аккуратное, перевернутой буквой «т» отверстие в ней производило впечатление какой-то фальши, обмана, невозможности того события, подтверждать которое ему надлежало, – таким аккуратным, правильным оно выглядело; но все же, напрягшись, можно было на секунду проникнуться ощущением, что три эти подкрашенные, четко отграниченные друг от друга прямоугольника – история.

– Пойдемте пообедаем, – сказал Пахломов.

Они спустились с холма, миновали фонтан и вышли к двухэтажному стеклянному зданию кафе, выстроенному у входа в парк. У дверей уже собрался небольшой хвост – начинался вечерний, послепляжный наплыв, – и Кира решила поехать к себе, зайдя по дороге в магазин, но тут дверь открылась, и швейцар, выпустив группу отобедавших, стал впускать очередь и рукой показал Кире с Пахломовым, собиравшимся уходить: всех пропущу, всех.

Лопасты вентилятора под потолком гнали по залу свежий, холодивший лицо ветерок. Задернутые белыми шторами окна не пропускали солнце, но света было много, и Кире, сидевшей спиной к окнам, казалось, что свет растворен в самом воздухе.

Официантка принесла вино. Пахломов налил и себе и Кире, но она не стала пить – после вина ее часто тянуло в сон, и то, что она вдруг начнет зевать, будет сидеть перед Пахломовым с осоловевшими глазами, неожиданно испугало ее. «Ну и подумаешь, зевать буду!» – сказала она себе, но что-то мешало ей переступить через желание показать ему себя лучшей. Принесли обед, и опять она поймала себя на том, что старается есть красиво, не наклоняет к тарелке голову, следит, чтобы с ложки не капало, и не посмела взять кусок курицы рукой, а потыкала, потыкала вилкой, не получилось – так и оставила. «Да что такое?» – спросила себя Кира, но, спрашивая, знала ответ, и лишь хитрила перед самой собой, обманывала себя, спрашивая...

Пришли музыканты, опробовали инструменты, настроили – и грянули «Очи черные».

– Можно? – Пахломов взял ее за запястье, она молча кивнула, и так они и шли к свободному от столов пространству, где уже танцевало несколько пар, – рука ее была полусогнута, словно бы он держал ее под локоть, но на самом деле рука его была на ее запястье.

– Почему вы молчите? – спросила она, и каждое слово давалось с таким трудом, словно замшелый, сто лет на одном месте пролежавший булыжник выворачивала из земли.

– А вы? – спросил он, едва слышно шевельнув губами; рука его потянула Киру податься вперед, теснее к нему, и тело ее, воспротивившись на мгновение, уже сдалось, но труба, вознесясь ввысь, смолкла – музыка кончилась, и она, измученная, обессиленная, оказалась свободной.

– Выйдемте на балкон, – сказал Пахломов.

Она послушно и терпеливо протиснулась вслед за ним через узкий проход между стульями двух близко стоявших друг от друга столиков, он взял ее под руку, и они вышли на пустую бетонную площадку балкона. Окно, выходившее сюда, было плотно закрыто шторой, и она почувствовала, как его рука, оставив локоть, вновь оказалась у нее на спине, и почувствовала ее всю, от плеча до ладони, крепко обнимавшую ее, и вдруг оказалось, что голова ее закинута, глаза закрыты и она отвечает на поцелуй.

– Д-дьявол! – выругался кто-то рядом, и словно что-то отбросило Киру от Пахломова, – в двух шагах от них стоял, тряс ногой и, морщась, ощупывал лодыжку мужчина со взъерошен-

ными по-пьяному волосами, в вылезшей из брюк рубашке. – Д-дьявол! – снова выругался он, не обращая на Киру с Пахломовым никакого внимания. – Чертов порог!..

«Вот так, милая моя. Чертов порог», – сказал в Кире со смешком чей-то чужой голос, и тут же она поняла, что это она сама себе и говорит.

– Судьба, однако, сторожит нас, – сказала Кира вслух.

– Кира... – Пахломов снова хотел обнять ее, но то, бывшее с нею еще мгновение назад, там, в зале, когда они шли между столиками и он держал ее за запястье, сделавшее ее немой, прошло, как ветром сдуло. Кира выставила перед собой ладонь и помотала головой:

– Не надо, Сергей.

– Почему?

– Не надо. Правда. – Кира посмотрела поверх его плеча, – парк Кадриорга поднимался уступами вверх, в просветах между деревьями были видны дорожки, посыпанные белым камушком, а в одном просвете угадывалось что-то желтое; может быть, подумала она, это дворец. – Правда, не надо, – повторила она, все так же глядя на него. – Я не хочу...

Оркестр прервал ее – громко, так что зазвенели стекла, заиграв шейк. «Пойдемте-ка потанцуем лучше», – хотела сказать она, но вместо этого, неожиданно для самой себя, спросила:

– А вы были женаты?

– Был, – не сразу ответил Пахломов.

– И отчего разошлись?

Он не ответил.

– Ну?

– Так... Не объяснишь. Не вышло. Жили, жили... и разошлись. Слава богу, детей не было.

– А может, поэтому?

Пахломов провел рукой по голове, по коротко стриженным своим волосам, потер щеку, будто пробовал, хорошо ли пробрился.

– Не знаю. Я, во всяком случае, не ставил опыта: а вот как без детей? Не было, и все.

– Ну, не сердитесь. – Кира взяла его под руку и повела в зал. – Не заслуживает он, женский этот пол, ваших нервов.

Официантка уже принесла кофе. Они выпили его, расплатились и поехали в Меривялью.

9

Дни отпуска покатались, похожие один на другой, в ленивом бездельи. С самого утра Кира уходила на пляж, загорала, купалась – часов до трех, до четырех, когда тело уже не выдерживало больше бремени наготы и просило одежды, тени – отдыха от изнурительно-блаженного чередования солнца и воды. Пахломов, в своих темных, скрывавших глаза очках, в красно-голубых, с ремешком на поясе капроновых плавках, относил в домик проката шезлонг с матрасом, и, когда она выходила из раздевалки, которой, оказалось, можно было пользоваться всем, а не только тем, кто сдавал на хранение одежду, причесавшись, подкрасив губы и глаза, – уже стоял одетый, ждал ее, и они шли, набирая песку под ступни, через прибрежную полосу леса к дороге, чтобы сесть на автобус и поехать в город. Пахломов нес Киру пляжную сумку, перекинув ее через плечо, молчал, как молчал большую часть времени, что они проводили вместе, – это-то молчание и нравилось Кире: она была и не одна, и в то же время как бы наедине с собой.

Сосны в прибрежной полосе леса были малорослые, тонкие, с серовато-зелеными плешинами плесени на стволах. Кира спрашивала Пахломова: «Отчего?» – «Сыро, наверное, море близко», – отвечал он и снова замолкал – до следующего ее вопроса.

Они где-нибудь обедали – или в «Старом Томасе», или «Паласе», или в том же «Кадриорге», иногда после обеда возвращались сразу же в Меривялью, а иногда шли в кино или просто ходили по старому городу, узкие улочки которого можно было, казалось, мерить бесчисленное число раз; побывали на службах в протестантском и католическом храмах, – и в такие дни возвращались поздно, с сумерками, дом бывал уже заперт, и приходилось долго ждать, пока Константин Александрович или его жена отзовутся на звонок. Два раза они выезжали из Таллина: съездили в Пярну – пересекли за три часа всю Эстонию с севера на юг, побывали в Тарту, побродили вокруг Тартусского университета, двор которого был каникулярно пуст и безжизнен.

Кира понимала, что в их установившихся после того случая в Кадриорге внешне дружеских отношениях есть элемент игры, неправды, обманывания друг друга – потому что Пахломов конечно же едва ли устраивала роль бескорыстного рыцаря при прекрасной даме, – да и вообще было ей беспокойно, оттого что выходило – они как бы вместе отдыхают; но она оправдывала себя тем, что это ведь не специально вышло и не было у нее никаких дурных намерений, когда просила у Константина Александровича устроить Пахломова. И кроме того, знала она теперь, одной было бы невыносимо скучно, и двух дней не выдержала бы, а ведь пришлось бы проводить отпуск в одиночестве: одна старушка соседка уехала, передав свою комнату Пахломову, а вторая – что жила, что не жила: сидела днями во дворе на шезлонге, читала книгу или дремала. И кроме того, успокаивала себя Кира, у них же *ничего нет*, и даже в помыслах у нее *нет*... На ночь она закрывала дверь своей комнаты на защелку. Ей было смешно, и она подтрунивала сама над собой, когда, навалившись на дверь всем телом, чтобы щеколда зашла в петлю, закрывалась от Пахломова, но и ничего с собой не могла поделать.

Пришло письмо от Николая. Константин Александрович передал его во дворе, когда они с Пахломовым вечером возвращались из города, и, взглянув на обратный адрес, Кира вдруг поняла, что ведь за прошедшие полторы недели почти и не вспоминала о муже, а если и вспоминала, то мимолетно, случайно как-то, и не тосковала по нему. И сейчас его письмо оставило ее равнодушной, она не разорвала тут же конверт и не стала читать округлые ровные строчки, поднимаясь по лестнице, а, повертев в руках, сунула в пляжную сумку, которую как всегда нес Пахломов, и поймала себя на мысли: как хорошо было здесь без напоминаний о той, оставшейся словно бы где-то в далеком прошлом жизни...

– От мужа? – спросил Пахломов, передавая ей сумку, когда они поднялись наверх, и до нее даже не сразу дошло, о чем речь.

– А-а... да, – сказала она, наконец поняв. – От мужа.

– Приятно получать письма от любимого человека? – Пахломов улыбался, и улыбка его, увидела Кира, ненатуральная и вымученная.

– Оставьте, Сергей. – Она вдруг почувствовала себя виноватой перед Николаем: и за то, что не вспоминала о нем, и за то, что, выходит, обманывает его, находясь целый день, с утра до вечера, здесь, вдалеке от него, вдвоем с Пахломовым. – Конечно же, приятно, почему нет?

– Именно это-то мне и неприятно, – тихо, но отчетливо сказал он, глядя ей прямо в глаза, и Кира увидела, что над левой бровью у него набух и запульсировал голубоватый канатик.

И все: то, как дрожали у него пальцы там в вагоне, когда они познакомились, и то, как он взял ее руку в свои ладони, когда она сказала ему: «Как же вы собираетесь устраиваться?» – «Не надо, пожалуйста, не волнуйтесь так», и то, как он странно взвинтился вдруг там, на балконе кафе «Кадриорг»: «Не знаю, я, во всяком случае, не ставил опыта: а вот как без детей?» – все это в одно мгновение вспомнилось ей и осветилось новым светом.

«Неужели? – не веря еще, сказала она себе. – Господи, неужели? Этого, этого только мне и нужно было, этого-то! Уж лучше бы он просто хотел поразвлечься – тут все ясно...»

Слышно было, как во дворе лаяла собака старухи соседки, жужжал мотор и шелестела о листья вода – Константин Александрович поливал цветы.

– Завтра я пойду на пляж одна, – сказала Кира. – Не ждите меня. И вообще, давайте больше не будем вместе, хватит.

Она повернулась и пошла в свою комнату. В комнате бросила сумку на пол, легла на кровать и долго лежала так, обняв подушку и глотая вспухавшие в горле слезы. Отчего она плакала, Кира не знала.

Она проснулась от грохота взревевшего во дворе мотоциклетного мотора. В комнате уже было сумеречно, бледный рассеянный этот свет размыл очертания вещей, и нелепый, бесформенный предмет на полу, когда она пригляделась получше, оказался пляжной сумкой.

«А! – вспомнила Кира. – От Николая пришло письмо...»

Она встала, включила свет и посмотрела на себя в зеркало. Веки опухли, тушь потекла, от засохших слез стянуло под глазами кожу.

Грохот мотоциклетного мотора под окнами перешел в глухое, утробное пофыркивание – двигатель перевели на малые обороты. «Йа, йа, – услышала Кира сквазь это пофыркивание голос Константина Александровича. – Только-о на шоссе не выезжай. Там милиция – прав у тебя нет», – и следом за тем непонятно и быстро сказал что-то Пахломав.

«Это-то мне и неприятно», – прозвучало у нее в голове.

Кира подошла к окну и посмотрела вниз.

Двери гаража были распахнуты, старый, с обшарпанной гоночной коляской мотоцикл Константина Александровича, на котором он, несмотря на свои годы, иногда еще ездил, с неспешной, черепашей скоростью, стоял на заасфальтированной площадке перед гаражом, и в седле его сидел Пахломов. Константин Александрович, в своих неизменных вельветовых шортах, держался за руль и что-то говорил Пахломову, взмахивая свободной рукой. «Тормоз... это, как его... – донеслось да Киры. – с другого раза... нет, с другой стороны...» Пахломов сидел, наклонив голову, и было видно, что он слушает наставления Константина Александровича, желая скорее отделаться от них.

Кира отошла от окна, взяла с тумбочки лосьон, смочила в нем вату и стала протирать лицо. Лосьон пах огурцами, спиртом, еще чем-то парфюмерным и приятно охлаждал кожу.

Мотоцикл снова взревел моторам и мгновение грохотал, казалось, прямо в самой комнате, на тут же рев его начал удаляться,глохнуть, сделался едва слышным и наконец исчез совсем.

Кира подняла с пола сумку, вынула из нее купальник, полотенце и пошла вниз, на улицу – повесить на веревку, чтобы просохли, как делала каждый день. Константин Александрович стоял возле гаража, скрестив на груди руки, и, увидев Киру, закачал головой.

– Сильно-о плохое настроение у Сергея. Попробил покататься – ну, мне ведь не жалко.

Кира ничего не ответила ему, пожала плечами и улыбнулась.

– Отчего, Кира, не знаете? – крикнул Константин Александрович. – Вы его чем-нибудь обидели, а? Он о-очень хороший парень, Кира.

– Наверное. – Кира повесила полотенце с купальником на веревку, прихватила деревянными зажимами и пошла обратно.

Она поднялась в свою комнату, съела всухомятку бутерброд с колбасой, прочитала письмо Николая и легла спать.

Проснулась она от шума в коридоре, от чьих-то громких быстрых шагов, от незнакомых мужских голосов. Некоторое время она лежала, ничего не понимая, замерев в испуге, и вдруг ясно и четко голос Константина Александровича произнес: «Тормоз... это, как его... с другого раза...»

Кира вскочила, надела халат и выбежала в коридор. Горели все лампы, в раскрытую дверь видна была лестница, тоже освещенная, и по ней осторожно и медленно спускались два санитара, а между ними, обхватив их за шеи, с забинтованной головой, шел Пахломов: левая нога у него безжизненно висела в воздухе и была нелепо вывернута носком внутрь.

10

Больница пахла йодом и стоялым воздухом. В полутемных узких коридорах ее было угнетающе чисто и тихо. Кира слышала лишь стук своих каблуков и шуршание халата медицинской сестры, быстрым мягким шагом скользившей в войлочных тапках ней.

– В этой палате, – остановилась медсестра и посмотрела на Киру. – Постарайтесь не утомлять его. Все-таки сотрясение мозга, и операцию сделали – всего-то несколько часов прошло.

Кира сглотнула слюну.

– Я постараюсь.

Она постучала в дверь, услышала, как кто-то крикнул изнутри: «Йа, йа», – и ступила в палату. Пахломов она увидела сразу же, – он лежал в дальнем углу палаты, у окна, нога его была подвешена на блоках, голова все так же глухо, по самые брови, обмотана бинтом, словно в хоккейном шлеме. Кира быстро, слыша, как заколотилось сердце, пошла через всю палату к нему, втиснулась в узкое пространство между двумя кроватями, разделенными тумбочкой, и, увидев близко его серое, с потрескавшимися черными губами лицо, вдруг ощутила, что горло перехвачено спазмой и она не в силах сказать ни слова. Так она и стояла над ним, пытаясь сглотнуть мешавший уже дышать комок, и молчала.

Кто-то принес ей стул, она села, и Пахломов, потянувшись, взял ее руку в свою.

– Ну-ну, – сказал он, улыбаясь плохо слушающимися губами. – Ну-у, Кира... Видите, я жив-здоров. Месяц-полтора – и опять буду играть в волейбол.

И она опять не смогла ему ответить, но после этих его слов – что он жив-здоров – ей разом стало легче и как-то покойней.

– Мне повезло. Надо радоваться... – Он сжал ее запястье, и Кира, повинувшись неясному, глухому порыву, наклонилась и прижалась щекой к его руке.

– Господи!... – выговорила она. – Я так перепугалась.

И тут же она поняла, что сделала, и ужаснулась этому – тогда, на балконе кафе «Кадри-орг», она тоже не помнила, что делает, да и танцевала, и шла за ним на балкон – все будто во сне; что это с нею?

– Подождите... – Она выпрямилась и попробовала высвободить руку, но Пахломов не отпускал и смотрел на Киру просветленными, счастливыми глазами.

– Не надо, – сказал он. – Пожалуйста. Прошу вас.

– Нет... Нет. Это я вас прошу... – Она наконец высвободила руку и, словно не зная, что с нею делать, взяла ее другой рукой, отпустила... – Нет, Сергей... Вообще уже то нехорошо, что мы вместе здесь были... отдыхали. Одно это уже...

– А что другое? – спросил он, и Кира, не до конца осознавая еще, что же такое сказала, поняла, что она проговорила о чем-то, в чем-то призналась ему, в чем не должна была ни в каком случае признаваться.

– Вы знаете... – сказала она, – я к вам не приду больше. Вы живы, слава богу, поправитесь... Я понимаю: тяжело, когда некого ждать. День, два, неделю – все один. Но я не приду больше.

– Погодите, Кира... – сказал Пахломов.

На она встала и, не глядя на него, неся перед собой стул, выбралась из узкого прохода между кроватями, пошла к выходу, чувствуя, что вся палата смотрит сейчас на нее. Возле двери она оглянулась. Пахломов лежал, глядя в потолок.

Кира спустилась на улицу, села в автобус, чтобы ехать на пляж, и вдруг поняла, что нужно уезжать. Сегодня же, немедленно – бежать, спастись: за десять этих дней, что они провели вместе, какие-то невидимые, тайные нити все же протянулись между ними, привязали ее к Пахломову, она привыкла к нему, он стал ей необходим, бог знает зачем, но необходим, ну...

вот как пляжная сумка для пляжа, и если она останется, не на море будет ходить, не на море проводить свой отпуск, а в больнице...

11

На вокзале Киру никто не встретил. Недавно прошел дождь, асфальт перрона еще не успел просохнуть, и от него тянуло сыростью и прохладой. Горьковато пахло технической, пропитанной мазутом землей, – этот запах напомнил Кире завод, и она ясно почувствовала, что прибыла домой.

Некоторое время она стояла у вагона, думая – может быть, Николай сейчас подойдет, но мало-пamалу перрон пустел, стал просматриваться насквозь, и сделалось очевидно, что Николая нет. Кира подняла чемодан и пошла к спуску в туннель.

В ручке квартирной двери белел сложенный пополам листок бумаги. Кира вынула его – он оказался нераспечатанной телеграммой, за которую, очевидно, расписался кто-то из соседей и сунул потом сюда, дожидаться получателя. Кира перерезала нагтем полоску телеграфной ленты, запечатывавшей телеграмму, и прочла: «Буду двадцать третьего, паезд двадцать четвертый, ваган девятый. Целую. Кира».

Она отперла дверь, внесла чемодан и поставила его тут же, в прихожей. Квартира была пуста. Кира прошла по комнатам, заглянула в ванную, в туалет – от ручек на пальцах остался след пыли; в квартире уже никого не было дня три-четыре, не меньше.

Кира вернулась в прихожую, заперла дверь и, сняв трубку, набрала телефон свекрови. За последний год отношения со свекровью у нее наладились, та примирилась, как сама она иногда говорила – вроде бы в шутку, но Кира-то знала, что всерьез, – «с фактом», и иногда даже она заходила к молодым специально в то время, когда сына не могло быть, и, Кира знала, вовсе не для того только, чтобы проверить, как там ведет себя, оставшись дома одна, невестка, но и для того, чтобы просто посидеть без забот, выпить чаю, поговорить, дать наставления и советы, которые, может быть, и не будут приняты к руководству, но выслушаны будут, во всяком случае, самым внимательным образом.

– Ки-ирочка? – изумленно протянула свекровь. – Ки-ирочка, откуда ты?

– Я из дому, – сказала Кира. – А где Николай?

– Ты разве не знаешь? Он тебе не написал? Николай уехал в Москву. Тот доктор, что его опекает, вызвал его, прежде чем давать реферат на рецензию, – что-то там переработать, чтобы не к чему было придраться. У них там, понимаешь же, конечно, такое блатмейстерство что просто необходимо...

– Ясно, – остановила ее Кира. Ей вдруг показалось – она не выдержит и положит трубку. – Давно он уехал?

– Да дня четыре уже.

Ну да, четыре дня... Четыре дня назад она получила его письмо, а писано оно было – все полторы недели прошли, он тогда еще не знал, что поедет. А то, в котором сообщал об этом, она уже не могла получить.

– Спасибо, Виктория Яковлевна, – сказала Кира. – И не волнуйтесь, ничего не случилось. Просто грустно было одной.

– Да-да, я понимаю, – ответила свекровь, и Кира увидела, как она закивала, сочувствующе наморщив лоб, поджав губы и глядясь при этом в стоящее напротив телефонного столика зеркало. – И вот надо же – Николай уехал.

– Да, обидно. – Кира попрощалась и положила трубку.

Она обхватила себя за плечи, словно ей было зябко, и так, ссутулившись и пришаркивая, прошла через всю квартиру, открыла балкон и вышла на него. Было уже почти совсем темно, ползущие внизу по проспекту машины шли с включенными фарами. Отсюда, сверху, эти огни

казались живущими отдельно от машин и напоминали каких-то трудолюбивых, светящихся насекомых, упорно и бессмысленно спешащих к неведомой, может быть, и для них самих, но все же существующей цели.

Кира повернулась и вошла обратно в квартиру. Она снова пробрела по комнатам, натываясь в темноте на стулья, постояла в прихожей, возле чемодана, не зная, отнести ли его в комнату или оставить пока здесь, зашла на кухню, села на табуретку, прислонилась к стене и включила репродуктор. «Местное время одиннадцать часов», – неожиданно громко в окружавшей Киру тишине произнес репродуктор ясным женским голосом. Кира привернула звук и облокотилась о стол.

Она не знала, когда сбегала из Таллина, хочет ли она видеть Николая, нужен ли он ей сейчас, необходим ли, – ей просто нужно было сбежать. Сейчас же она поняла, что вовсе не огорчена его отъездам, скорее наоборот – рада. Как там, в Таллине, ни минуты счастливого волнения не принесло его письмо, пришло оно или не пришло бы – все одно, так и сейчас было абсолютно все равно – есть ли рядом муж, нет ли его. Скорее хорошо, что нет.

На кухонном столе стоял будильник. В темноте влажно, словно мокрое, поблескивало его стекло. Кира взяла будильник, завела, и сразу же мертвая, глухая темнота квартиры ожила, наполнилась мерным, звонким его тиканьем.

– Ну что же, – сказала Кира самой себе. – Что же, Кира Ивановна... Будем продолжать отдых.

* * *

Солнце садилось, и от розово светившихся, белых в глубине, клубящихся облаков отдавали сиреневым верхушки деревьев, трава газонов, гравий дорожек, шерстисто хрустевший под ногами. Жара спала, вечерний ветерок лениво полоскал листву, шум города не проникал сюда, оставался за решетчатой оградой, а все звуки, которые были на самом стадионе, глохли в этой лениво шелестевшей листве, в огромных зеленых его пространствах. С широких асфальтовых аллей на дорожки влетали иногда на подростковых своих велосипедах, одетые в джинсы и в одних майках, мальчишки, трезвонили хрипло урчащими звонками, требуя уступить дорогу, и шины их велосипедов шипели по гравию, будто обданная водой раскаленная сковорода.

Посторонившись, чтобы пропустить очередного велосипедиста, Надежда со смешком кивнула ему вслед:

– А вот лет десяточек... нет, чуть побольше, я здесь так же носилась. Представляешь меня?

– Нет, – Кира рассмеялась. Она попыталась представить себе Надежду, в ее брючном костюме, в лакированных туфлях, источавшую тонкий и сложный парфюмерный аромат, верхом на жестком седле, согнувшуюся над рулем, – нет, это было невозможно.

– И тем не менее. Лет до четырнадцати, наверное. Самое было любимое место. Летом дня не проходило, чтобы не забежали. В лапту – на стадион, из кино – через стадион, делать нечего – тоже на стадион, поглазеешь на каких-нибудь там волейболистов...

– А я, знаешь, по работе заскучала, – сказала Кира. – То жаловалась – сил нет, а вот, видишь...

– Все я понимаю, Кирочка. Все. – Глаза у Надежды были мягкие и ласковые. – Но только на твоём бы месте никуда я из Таллина не сбегала.

Она дала Кире прикурить и закурила сама. Сухие длинные ее пальцы с изящно и тонко обработанными ногтями держали сигарету у самого фильтра, и оттого сигарета казалась уже не обыкновенной бумажной трубкой, набитой табачным крошечком, а чем-то вроде драгоценной жреческой фиаммной палочки.

На городошной площадке шла игра. Синевато поблескивая воронеными металлическими поясами, шаровки тяжело проносились над присыпанной сероватым песком дорожкой, с сухим шелестом касались бетонного квадрата, расчерченного белой масляной краской, и городки от удара с коротким взвоном взлетали в воздух, кувыркались в нем и глухо ударялись о стоявший за бетонными квадратами длинный, почерневший от времени деревянный щит, густо заросший у основания травой. Отдыхавший игрок, прижимая к груди запасной комплект городков, выходил ставить новую фигуру, и тогда мальчишки, торчавшие на скамейках для зрителей, срывались со своих мест и, ползая на коленках, шарили в траве под щитом. Потом они неслись к отдыхавшему игроку, уже поставившему фигуру и сидевшему обочь площадки на маленькой двухместной лавочке, и тот, не глядя на них, небрежно принимал городки и сыпал перед собой на землю.

– Можешь представить меня еще и здесь, – кивнула Надежда. – Сама я уже, откровенно говоря, представить не могу.

Они миновали городошную площадку, вышли на залитую асфальтом главную аллею, и сразу стал слышен шум болельщиков, несшийся с нижнего футбольного поля, глухое, мерное стуканье мяча о тренировочный щит на теннисном корте.

Солнце уже скатилось к самому почти горизонту, налилось малиновым, розовые отсветы на облаках начали густеть, переходить в рыжевато-дымные, местами кровавые подпалины, белая рафинадная глубь их сменилась сизой, словно бы затверделой толщей. Тени стали глубже, плотнее, но до ночного холода было еще далеко, нагревшаяся за день земля отдавала сейчас накопленное тепло, и ветерок, лениво шелестевший листьями, обмывал лицо по-прежнему сладко и ласково.

– Чудно, Надюш! – сказала Кира и обняла Надежду обеими руками. – Чудно как!..

– Да оно так, – отозвалась Надежда, искоса взглядывая на Киру. – И думаешь, наверное: вот и не нужно ничего больше... Так? Эх, кабы так! Одними такими прогулками жива не будешь.

– Не надо, Надюш, прошу тебя. – Кира посмотрела в ее спокойные, с широким раствором глаза, выдающие мягкость и чуть ироническую покладистость характера, и вдруг что-то холодное и трезво-расчетливое промелькнуло в них – то, что всегда, с самого начала их знакомства ощущала Кира, и оттого не решалась быть с Надеждой откровенной, но потом в конце концов уверила себя, что все это – выдумка обман, собственная ее фантазия.

– Ты что? – спросила Надежда отстраняясь.

– А что? – переспросила Кира, понимая: это короткое, мгновенное ощущение отразилось, очевидно, у нее на лице.

– Ну-у... почему так уж вот – не надо? – встряхивая головой, сказала Надежда и засмеялась. – Но ладно, все. Все. Не буду. Это твое дело. Значит, так нужно было.

Они поднялись по лестнице, свернули в боковую аллею, – шум футбольного поля и стуканье теннисного мяча о щит остались позади, теперь, звонкие и гулкие, слышались справа, с волейбольных площадок, всхлопы большого, одетого в твердую кожаную покрывку волейбольного мяча.

– Что, зайдем, поглазеем? – вспомнила Кира Надеждиных слова.

Влажный, утрамбованный песок упруго пружинил под ногами. Они поднялись на трибуны и сели. Игроки, в одинаковых голубых майках, уже выпачканные на спинах в песке, были злы и взвинченны, – игра не получалась; это было заметно с первого взгляда.

Особенно нервничал маленький, черный, с густо поросшими волосом руками, – всякий раз при потере подачи, когда мяч оказывался у него, он не просто кидал его через сетку, а изо всей силы бил о землю, и мяч, со звонким шорохом отскочив от земли, вылетал за пределы площадки.

– Крошев! – крикнул наконец на него судья. – От того, что ты будешь психовать, друг твой здесь не появится. Играть на первенство придется все равно без него.

Маленький тот, черный, с гримасой недовольства отмахнулся от судьи, принял мяч и пошел за линию пробить подачу. Он повернулся, утвердил ногу, размахнулся, – раздался гулкий утробный всхлоп, мяч стремительно и тяжело, как пушечное ядро, пронесся через площадку, врезался в сетку, и она, упруго качнувшись, погасила его секунду назад казавшееся неостановимым движение. Человек с мохнатыми руками ударил носком кеда по площадке, так что взлетели в воздух комки спрессованного влажного песка, и сплюнул, утершись мокрым рукавом майки.

Кого-то он напоминал Кире или, может быть, где-то она его когда-то видела; но кого он ей напоминал или где она его видела – этого Кира не могла вспомнить.

– Зрелище, скажу я тебе, не из приятных, – с каким-то нервным, быстрым смешком сказала Надежда. – Давай-ка пойдем лучше.

– Пойдем, – согласилась Кира.

Они спустились вниз и пошли к выходу. Трибуны были отгорожены от площади низеньким дощатым барьерчиком, и до боковой линии, проведенной по песку известкой, можно было бы дотянуться рукой. Тот маленький, с волосатыми руками, стоял возле самых трибун. И когда Кира с Надеждой проходили мимо, он поздоровался с Надеждой, быстрым коротким поклоном, и она ответила ему.

В следующее мгновение мяч, глухо, тяжело охнув, пронесся над сеткой, и мужчина отвернулся, принял волейбольную стойку.

– Ты его знаешь? – спросила Кира.

– Так, постольку поскольку. Друг Пахломова.

И тут Кира увидела, как стоящий следом за ней, преследовавший ее с утра мужчина в белой полотняной кепке, натянутой на самые глаза, маленький, с длинными, густо поросшими черным волосом руками, отогнув мягкий козырек кепки вверх, чтобы не мешал смотреть, буквально оттесняет ее от окошечка касс, и когда кассирша произносит в переговорное устройство вслед за диспетчером номер поезда, дату, вагон, как-то странно – словно облегченно – переводит дыхание...

Кира остановилась. Надежда тоже остановилась и повернулась к ней.

– Что, Кирочка?

Кира посмотрела ей в глаза – они были ясные и очень спокойные, ярко-серые, будто высветленные изнутри, господи, подумала Кира, была бы мужиком, сошла бы с ума от Надежды из-за одних этих глаз... На мгновение она забыла, что хотела сказать, но потом пересилила себя и вспомнила.

– Зачем ты это сделала?

– Что?

– Вот то, когда я покупала билеты в Таллин.

– Не понимаю.

– Когда я покупала билеты в Таллин, целый день за мной ходил вот этот самый, волосатый, а потом у Пахломова оказался билет в то же купе, что и у меня.

Надежда смотрела на Киру молча, глаза ее были по-прежнему ясными и спокойными, но рот у нее приоткрылся, и Кира видела, как тонкий, острый язык, подрагивая, ощупывает нёбо.

– Ты напрасно так думаешь, – сказала наконец Надежда.

– Что же, списать все на случайное совпадение?

Надежда вдруг рассмеялась, вынула из пачки сигарету и прихватила ее губами.

– Давай-ка уйдем с прохода. – Она чиркнула спичкой: – Хочешь? Нет? Ну ладно. Мне знаешь что обидно? Ведь я о тебе думала. Не о себе. Ты что, полагаешь, я пришла, отозвала в сторонку и давай нашептывать: едет тут одна, молодая, красивая... Так? Да ведь я же видела,

как Пахломов на тебя посмотрел. И твои слова, помнишь: «А он ничего, в нем что-то есть». Помнишь? Я ему и говорю: «А на меня вы так не смотрите, Пахломов, как на кое-кого. На всех одинаково? Ну, давайте, врите. Впрочем, месяц вам на всех придется действительно одинаково смотреть – завтра она едет за билетом». Вот и все, что я сделала. Что-то ужасное?

Кира смотрела, как Надежда, прерывая слова затяжками, неторопливо, размеренно курит, бережно, осторожно держа сигарету за самый фильтр, и вдруг почувствовала себя чем-то вроде выслужившей свой срок, ненужной больше прежнему хозяину вещи, которую вынесли на барахолку и предлагают продать за сходную цену.

– Оставь меня, – сказала она Надежде. – Правда, оставь... Прошу тебя! Я тебя, кажется, ненавижу.

...Она брела по центральной аллее к выходу, вечер был все тот же, и даже не успело еще сесть солнце, и так же стучал на корте мяч о деревянный щит, и с футбольного поля неслись нестройный рев болельщиков, но у нее было ощущение – год, два, целых десять лет прошли сейчас, за эти несколько минут...

12

С этим ощущением – громадности прожитого со вчерашнего дня времени – она и проснулась. Но то было только ощущение, отпуск ее еще продолжался, и не лежать же было, следовало чем-то заниматься.

Кира встала, позавтракала, вымыла за собой посуду, протерла на кухне пол. В баке под умывальником в ванной комнате скопилось немного грязного белья, она замочила его и, пока оно мокло, прибралась в комнатах, протерла пыль, навела порядок на столе у Николая. Постирала и повесив белье на балкон сушиться, она приняла душ, вытерлась, подвела глаза, потом пообедала, – часы показывали три часа дня.

Она взяла какую-то незнакомую, из недавно купленных Николаем книгу, но не смогла одолеть и трех страниц, сунула ее обратно на стеллаж, достала пленки с записями «бардов» и «менестрелей», но даже не поставила их, а, выключив магнитофон, оделась и спустилась на улицу. Идти ей было не к кому – все ее институтские друзья после защиты дипломов разъехались кто куда, а уж когда начала работать, было не до того, чтобы заводить новых. Единственно, с кем сблизилась, так это с Надеждой, да и как оно вышло, сама не заметила...

Кира дошла до автобусной остановки, села и поехала в центр. В «Совкино» шла новая французская кинокомедия, она купила билет на пятичасовой сеанс и около семи, совершенно задохшаяся в узком, с низким потолком, плохо проветриваемом зале, вся мокрая, снова оказалась на улице.

Начинались вечерние «уловные» часы, и пока Кира дошла до круглого, как бочонок, здания гостиницы «Исеть», к ней привязывались три раза. Она хотела зайти в кафе, поужинать, но из дверей кафе уже неслись звуки играющего какой-то шейк оркестра, она побоялась, что и там будут приставать, вернулась обратно, зашла в гастроном, купила еды и поехала домой.

Спать она легла – было еще светло и слышно было, как во дворе кричали, играя в лапту, дети.

На следующий день Кира, с самого утра, поехала на Балтым. День, как и все дни нынешнего лета, стоял солнечный, жаркий, и противоположный берег озера тонул в текучем стеклянном мареве, еле угадываясь темно зеленеющей щеточкой леса, шумели сосны в вышине, волна, набегая на берег, шуршала по песку, – и Кире временами казалось, что никуда она не уезжала из Таллина, все это приснилось ей, и достаточно чуть больше повернуть голову, и она увидит Пахломова, сидящего в шезлонге, вытянув ноги, и тайком поглядывающего на нее из-под больших темных очков...

Она два раза искупалась – вода была теплая и чистая, как проточная, – обошла весь пляж, покачалась с веселой компанией парней и девушек, очевидно студентов, на качелях, установленных в лесу, сыграла даже партию в настольный теннис, выстояв получасовую очередь, но все равно не выдержала здесь и трех часов. Она собрала вещи, оделась и уехала в город.

Приехав, Кира позвонила свекрови и, не заходя домой, пошла к ней. Едва губы свекрови, обдав сладким запахом наложенной толстым слоем помады, коснулись ее щеки, она пожалела о том, что пришла, но так и провела остаток дня среди тяжелой, богатой обстановки, в разговорах о деньгах, о вещах, о знакомствах, без которых теперь ничего и нигде не достанешь и не сделаешь, и ушла лишь с приходом отчима Николая – угрюмого, неразговорчивого человека, с которым не то что она, но и Николай за те, уже немалые годы, что мать его была замужем за ним, не нашел общего языка.

На следующий день Кира позвонила на работу.

– Кира Ивановна? – обрадованно закричал в трубку Петр Семенович, руководитель группы. – Вернулись, голубушка? Вот хорошо! Выходите, потом догуляете. Работы свалилось – пропасть, анекдоты послушать некогда.

* * *

И снова потянулись те прежние, однообразные рабочие дни, которыми Кира жила до отпуска, только теперь она была одна и, возвращаясь домой, заставляла пустую квартиру. Работы действительно оказалось много, и она иногда, после звонка, спустившись в буфет и перекусив, возвращалась обратно и проводила у кульмана еще три-четыре часа. Петр Семенович, постоянно ухивившись последним, удивленно смотрел на нее поверх спущенных на кончик носа очков, хмыкал, потирая красную, апоплексическую шею, и говорил, запирая ящики стола: «Свет, Кира Ивановна, не забудьте выключить». Раз два в коридоре она сталкивалась с Надеждой, та выжидательно смотрела на нее, и Кире хотелось не только поздороваться, но даже и помириться, пожалуй; однако оба раза что-то не давало ей сделать этого.

От Николая не было никаких вестей. И она как-то привыкла к этому, привыкла к тому, что возвращается в пустую квартиру и ей некого ждать, и несколько раз, вынимая по вечерам почту, поймала себя на мысли, что боится, как бы там не оказалось его письма. Потом она заметила, что совсем не звонит свекрови, что следовало бы делать, коль сын ее находится в отъезде; каждый день с утра она давала себе слово, что сегодня-то уж обязательно позвонит, но день кончался, а она никак не могла пересилить свое нежелание. Так прошло недели две.

Телефон зазвонил, когда Кира была в ванной, и она решила не подходить, посчитав, что если кому надо, то перезвонит. Но телефон все звенел и звенел, и она подумала, что это Николай звонит из Москвы по автоматической связи, выскочила из ванной, обмотавшись полотенцем, чтобы не капало на пол, и крикнула в трубку:

– Да!

Но никто ей не ответил. В телефоне что-то пощелкивало и поскрипывало, пробивались голоса соседнего канала, но того, кто звонил ей, слышно не было.

– Вас не слышно. Перезвоните, – крикнула Кира и повесила трубку.

Некоторое время она ждала у телефона, но он не звонил, и она побежала обратно в ванную.

Когда она уже вымылась и сушила волосы, телефон зазвонил снова.

– Я вас слушаю! – сняла Кира трубку.

И опять ей никто не ответил, но теперь она явственно услышала там, на другом конце провода, чье-то дыхание и даже скрип чего-то деревянного, словно качнулись на рассохшемся стуле.

– Хватит вам баловаться, – сказала Кира и подумала: Надежда? Но тут же она поняла, что не Надежда – Надежда не будет звонить. – Ну, так кто это? – спросила она.

Трубка молчала, и сейчас в ней была одна темная, непроницаемая тишина, и можно было подумать – это дыхание и этот деревянный скрип померещились ей. Кира положила трубку.

Она накрутила волосы на бигуди, было еще не поздно, и решила еще посидеть, посмотреть телевизор. По московской программе шла какая-то очерковая передача, и Кира переключила на местное вещание.

На экране играли в волейбол. Камера брала общий план, и игроки казались заводными игрушечными человечками, неумоимо, в полную мощь своего завода подпрыгивающими и бьющими по мячу. Диктор что-то говорил, но Кира не слушала, она смотрела и не смотрела, обрабатывала маникюрным инструментом распаренные после ванны, податливые ногти, и вдруг камера стремительно наехала на площадку, взяв крупным планом игрока, производившего подачу, – и в нем, повернувшись к площадке спиной, бьющем мяч через голову, Кира узнала того, маленького, с мохнатыми руками.

Может быть, она думала все эти дни о случившемся с нею в Таллине, сама не сознавая этого, может быть, то была ассоциация, самая простая, самая поверхностная – она не знала, но едва она увидела Крошева, она поняла, кто звонил ей.

И потом, спрашивая себя, она тоже не могла ответить, как это все произошло: поняв, она тут же поднялась с кресла, подошла к телефону и, набрав номер заводского справочного, спросила телефон Пахломова. И пока ей искали номер, за эти полторы-две минуты она ведь могла попытаться подумать над тем, что делает, попытаться трезво взглянуть на то, что собиралась сделать, но она просто стояла над телефоном с карандашом в руке, и ни единой мысли не было в голове, а только одно, поглотившее, растворившее ее всю в себе ожидание.

Ей сказали номер, она записала и тут же набрала его.

– Слушаю вас, – ответили ей, и она поняла, что не ошиблась, – это был его голос.

– Ну, я так и знала, что это вы, – не здороваясь, сказала она. – Думаете, мне приятней, когда вы молчите?

Он, видимо, не нашелся, что ответить, и она снова услышала его дыхание и тот же самый сухой деревянный скрип.

– Что это у вас там скрипит?

– Костыль.

– Как вы себя чувствуете?

– Ничего, – ответил он. – Сносно. Вот отлежал, как видите, срок, положенный при моем сотрясении. Ну, а нога пока еще в гипсе... облегченном.

Те, прожитые вместе несколько дней в Меривялье стояли сейчас перед Кирой как легкий, счастливый сон на заре, – в котором ничего не происходит, а видишь только какую-нибудь поляну, какую-нибудь реку в серебристо-зеленых ивах, склонившихся к воде, сон, который и пересказывать-то не перескажешь, но после которого просыпаешься с ощущением такого великого покоя в душе, что кажется, будто тела у тебя и нет, а вся ты – одна вот эта неощутимая душа. И Кира вдруг уверовала, что достаточно ей лишь увидеть Пахломова, переброситься с ним парой слов – вживе, не по телефону, и это блаженное состояние невесомости всего тела и полной раскрепощенности души тотчас снизойдет на нее.

– Ну, если уж вы из Таллина прикатили сюда, – сказала она, – так ведь до меня-то сможете добраться? А, Сергей? Или вам очень не хочется?

Она лежала на спине, вытянув руки вдоль тела, и смотрела в темный потолок, по которому временами пробегали слабые отсветы огней от проносившихся по проспекту машин. И в том безвозвратном, непоправимом, непонятно, непостижимо, как бы помимо ее воли случившемся, но неминуемом – о чем, как сейчас, задним числом, понимала Кира, она знала уже тогда, когда только снимала трубку, чтобы выяснить его телефон, – не было во всем этом

ни счастья, ни простого телесного наслаждения – ничего, один только стыд. Она лежала, вся сжавшись и стиснув зубы, и не испытала ни малой толики той нежности, которая буквально затопила ее, когда услышала лязг железной лифтовой двери, отперла квартиру и увидела на пороге его – с нелепо распухшей под брючиной на голени ногой, с костылем под мышкой и державшего в руках букет. Чужой человек, чужой, чужой!.. То есть уже и не чужой, но зачем, зачем, как? Он что-то говорил ей, рука его лежала у нее на груди, и эта рука была ей невыносима, и только потому она не снимала ее, что не смела его обидеть – он-то в чем виноват?

Окно было закрыто, и даже шум машин не проникал в комнату, лишь из соседней комнаты, едва слышное, доносилось тиканье будильника. И в этой тишине пронзительно и отчетливо раздался долгий, какой не бывает обыкновенно, – междугородный звонок.

И мгновенно, едва он зазвонил, Киру прошибло страшной, облившей ее жаром, смертельной мыслью: Николай. А следом она поняла, что все, все это время, весь вечер, с того первого, не отозвавшегося голосом, когда она сняла трубку, звонка, была уверена в вести от Николая, а может быть, даже и его появлении, и ждала, сама не создавая того, – что-то будет...

Телефон замолчал – и затрезвонил мелкой трелью, заколотил в тишину квартиры короткими быстрыми звонками. Кира дернулась – и замерла, ей было страшно. Уловив ее движение, Пахломов сказал: «Лежи». И если бы он не сказал, так бы она и не встала, но от этого его приказа все в ней воспротивилось ему, и она решила встать. Лишь стыд, что он увидит ее, мешал ей.

– Отвернись, – сказала она.

Он молча помотал головой.

– Отвернись, – резко сказала она, толкнула его в плечо, он повернулся, она встала, накинула халат и вышла в коридор.

– Слушаю, – внезапно охрипшим голосом сказала она в трубку.

– Киреныш? – произнес в трубке голос Николая. – Здравствуй, чижик. Ох, сорванец! Пишу письма в Таллин – ни слова ответа. Где, думаю? Сейчас разговариваю с мамой – ты, оказывается, черт-те сколько времени уже дома. Что случилось?

– Ничего, – сказала Кира, и опять голос у нее сорвался в хрипоту.

– Ты простудилась?

– Да, немного. – Она откашлялась. – Купалась.

– А что с Таллином?

– Так. Ничего. Просто тоскливо было одной. – Кира произнесла это давно придуманное объяснение и перевела дыхание – такой длинной показалась фраза и так неестественно, почувдилось ей, звучал ее голос.

Но Николай ничего не заметил.

– Мама говорит – ты уже на работе?

– Да.

– Неладно у нас нынче вышло. Хотя бы я дома был... Я тебя понимаю, приехала – и одни пустые стены. Тут не то что на работу...

– Заканчивайте! – сказал скрипучий, жестяной голос телефонистки.

– Киреныш! – закричал Николай. – Я завтра вылетаю, буду часов в пять, целую!..

В трубке шелкнуло, связь прервалась, и телефонистка скрипуче осведомилась:

– Поговорили?

– Да. – Кира положила трубку, села на стул, зябко обхватив себя за плечи, и долго сидела так, не двигаясь.

– Кира, – позвали ее наконец из комнаты.

Она встала, вынула из шкафа чистое постельное белье и начала стелить Пахломову в «кабинете», на маленькой тахте. «Грязная сука, – говорила она себе. – Грязная подлая сука...»

Ей хотелось выгнать Пахломова, остаться одной, но была уже ночь, и она боялась, что он не сможет поймать такси.

– Переходите сюда, – позвала она его.

И, запершись у себя в комнате, сидя на корточках возле тахты, смято синевшей простыней в ночномзыбком свете, снова называя себя грязными словами, она думала, мотая головой: больше никогда, господи, какой стыд, какой ужас, больше никогда, никогда!..

13

Но она ошибалась, говоря себе в ту ночь: никогда. Минула неделя, и однажды в конце рабочего дня, стоя у кульмана, она вдруг поняла, что сейчас, что бы ни говорила себе, как бы ни запрещала, дождется, когда комната опустеет, снимет трубку и наберет *его* телефон...

Николай прилетел – и все пошло по-прежнему; словно не было ни красных черепичных крыш Вышгорода, ни пахнувших йодом водорослей, выброшенных прибоем на берег, ни рыжей, с блестящей, будто нейлоновой, шерсткой белки, которую кормили с рук белоголовые мальчик и девочка в парке Кадриорга. У него накопилось много работы, и он возвращался домой в восьмом, а то и в девятом часу, принимал душ, облачался в халат, ужинал и потом часа два еще читал что-нибудь детективное, включив, как он говорил, «для атмосферы» на малую мощность магнитофон, или смотрел телевизор, пролистывая при этом свежие газеты. Время от времени, отвлекаясь от книги или телевизора, он начинал рассказывать ей что-нибудь о работе, – какой-нибудь случай без начала, без конца, как он сказал, да как сказали ему, и Кира понимала: рассказывает он не для нее, а чтобы заново пережить уже прошедшее, переварить его, прикинуть: что это все значит и что из этого выйдет... И, слушая его, поддакивая ему и сама даже говоря что-то, она не переставая думала о том, как же он ничего не заметил в ней в день приезда, как же не почувствовал, не уловил всей той фальши, которая, она была уверена в этом, сквозила в каждом ее слове, жесте – во всем, что бы она ни делала... И однако же – не заметил.

И, набирая номер Пахломова, прокручивая упруго и мягко сопротивлявшийся движению прозрачный диск, она опять подумала – почему же он не почувствовал; но ничего она не могла себе объяснить, как не могла бы объяснить и то, почему, наперекор всему, что было с ней в ту, недалней давности ночь, полную отвращения – и к себе, и к Пахломову – и стыда, она звонит ему.

Он отозвался, и Кира, голосом неестественным и дрожащим, сказала:

– Все скрипим, Сергей? Как здоровье?

В тот, первый раз она не решилась позвонить мужу, узнать, задерживается ли он на работе, как делала потом; она просто не пошла домой, махнув на все рукой, – будь что будет, и ей повезло: Николай в тот вечер вернулся даже позже обычного. А домашний телефон, сказала Кира, вошедшая в квартиру за десять минут до него, был неисправен, потому и не отвечал, вот только что ушел телефонист...

Она встречалась с Пахломовым и вечерами, говоря, что пошла к Надежде, и по утрам, договариваясь с Петром Семенычем выйти во вторую смену и говоря Николаю, что вечерами ей лучше работается: народу в конструкторском почти никого и стоит тишина. А впрочем, заметила она сама, ей действительно стало хорошо работаться – разве что не только по вечерам, а и днем, – Петр Семеныч, проверяя за ней чертежи, только удивлялся, с какой скоростью она их делала.

Несколько раз Пахломов заводил разговор о том, как он увидел ее впервые, как специально простаивал, бывало, по полчаса у дверей столовой, чтобы увидеть ее, когда она пойдет на обед, как в два дня, получив от Крошева билет, «закруглил» все свои дела, выбил у начальства и оформил отпуск, – и Кира понимала, куда он клонит, не решаясь заговорить прямо,

но она отмалчивалась в ответ на все эти разговоры или отшучивалась, потому что временами, когда она лежала на узкой холостяцкой тахте Пахломова, ей вдруг казалось, что это не его руки обнимают ее, и даже голос не его – Николая. Иногда она ловила себя на мысли что будь у нее до Пахломова, кроме Николая, еще мужчины, она бы путала Пахломова и с ними.

Она пила инфекундин, чтобы не забеременеть, первое время чувствовала себя плохо и Николай ничего не требовал от нее, а был по-обыкновенному заботлив и нежен. Она мучилась этой его заботливостью, его устойчивой обволакивающей внимательностью, да и нельзя было тянуть до бесконечности, и однажды, преодолевая чувство отвращения и ненависти к себе, решилась, – и оказалось, что страшного ничего нет, нужно лишь думать об одной себе, об одной себе...

Так, мало-помалу привыкая к своему новому положению, она прожила август, сентябрь, октябрь, и наступили Ноябрьские праздники.

* * *

В ночь на седьмое похолодало, ударил мороз, наутро пошел снег и шел весь день, медленный, крупный, тяжелый, покрыв ворсистым невесомым одеялом голую, вымерзшую землю с сухими кустиками увядшей травы, асфальт тротуаров, скамейки в аллеях, крыши домов, и когда вечером, по обезлюдевшим улицам Кира с Николаем шли в гости к Яровцевым, позади них, на асфальте, оставались четкие продавлинные следы. Снег вымыл из воздуха всю копоть и грязь, накопившиеся в нем за последние две недели сухой ветреной погоды, и вечер стоял той ясной, физически ощутимой чистоты, когда кажется, что вдыхаешь один ничем не разбавленный кислород, и голову по-пьяному кружит.

Яровцев был в новом, цвета маренго, с широкими, искристыми красными полосами костюме, в белой сорочке с редкими розовыми тюльпанами, под уголками воротника которой едва помещался крупный, тяжелый узел галстука. Принимая у Киры пальто и небрежными уверенными движениями помещая его на плечики, чтобы не вытянулось и не помялось на вешалке, он говорил о погоде, о том, как промерз нынче на демонстрации, улыбался; золотой его зуб металлически блестел в ярком свете всех зажженных в квартире ламп и казался Кире в скоплении великолепно сохранившихся белых зубов аккуратной желтой дыркой.

Вышла в прихожую Яровцева. Сегодня она надела парик, ярко-белокурый, иначе Кира не могла бы и сказать, – так светились, так ухоженно-ненатурально блестели и переливались его локоны. Николай поцеловал ей руку, сказал, что она – чудо, прелесть и не был бы он женат, непременно отбил бы ее у Леонида Пантелеймоновича, несмотря на то что он его начальник; Яровцева засмеялась на это: «Ну, Леонид Пантелеймонович не боится никого, знает, что ему никто не страшен», – и с ласковой материнской улыбкой глянула на Киру, освобожденную наконец от всех уличных доспехов.

– Господи, Кирочка! Так вам рада. Сколько мы не виделись?

Кира взяла ее за обтянутое мягкой шелковистой материей плечо, потянулась к ней губами, и они поцеловались.

– В том, что мы не виделись, виноваты наши мужья-сатрапы, – сказала Кира, тоже делая вид, что вовсе и не было никакого разговора между ними тогда, летом, в полутемной кухне под стрекот проектора, доносившийся из комнаты. – Говорят – эмансипация, ну, а на деле, рубашку не постираешь – выпорют.

– Ну, Кирочка! – блестя глазами от совершенно-таки искренней радости видеть ее, сказала Яровцева. – Не поверю. Николай Андреич – и сатрап? О-ой, неправду говорите! – Она погрозила шутливо пальцем, и Кире в это мгновение показалось – она знает что-то, или о чем-то догадывается, или что-то слышала...

Она пошла в комнату, оставив Николая в прихожей передавать хозяевам его с Кирой вклад в праздничный стол – бутылку коньяка и фрукты, переступила порог – и почувствовала, как стягивает кожу на голове от окатившего ее холода. Прямо напротив нее, в кресле у окна, с сигаретой в руках сидела Надежда, и на подлокотнике, тоже с сигаретой, держа перед Надеждой пепельницу и что-то говоря ей, – Пахломов. И еще мгновеннее, чем прошибло морозом, Кира поняла: она не ошиблась, там, в прихожей, не просто так грозила ей пальцем Яровцева.

Надежда увидела Киру и опустила поднесенную ко рту сигарету. Столбик пепла обломился и, рассыпавшись, упал на платье. Пахломов повернул голову, тоже увидел Киру и встал, торопливо сменяя в пепельнице окурки. И Кира, с ужасом чувствуя, что минута, нет, не минута – пол-, четверть минуты отпущены ей, чтобы спастись, сохранить все как прежде – пока Николай остается в прихожей, – неверным, осекающимся, каким-то семенящим шагом пошла к этому креслу и, старательно изображая радостную, счастливую улыбку, сказала Надежде, словно не замечая Пахломова:

– Ох, Надюш! Спрашиваю – где на Ноябрьские будешь, а она темнит... Теперь-то все понятно. Вот сюрприз!

– Ну, так вот ради него-то и темнила! – подхватила Надежда, и они поцеловались.

– Сергей, – сказала Надежда следом за тем, показывая на Пахломова. – Из нашего, из горнорудного отдела. Может быть, даже и сталкивались когда в коридорах...

Пахломов поклонился, и Кира, с отчаянием думая о том, что все, теперь – чем дальше, тем больше, ложь на ложь, притворство на притворство – ведь Надежда-то знает, что они знакомы, и, может быть, знает даже больше, чем она, Кира, подозревает, – подала Пахломову руку и назвалась.

– Кира Ивановна! – сказал кто-то за спиной. Кира повернулась и увидела того сухонького, маленького профессора политэкономии из Политехнического, который летом, когда отмечался выход в свет книги Яровцева, весь вечер ухаживал за нею. – Счастлив вас видеть. Елену Николаевну я, кажется, просто-таки замучил сегодня: да где же, спрашиваю, Кира Ивановна, чего же она, или не будет?

И Кира поспешила уйти с ним от Надежды с Пахломовым. ей нужна была разрядка, ей нужно было перевести дыхание...

С Надеждой они сошлись уже только за столом. Народу было много и оттого – шумно, Николай, сдвинув тарелку в сторону и положив перед собой руки ладонь на ладонь, разговаривал с тем обрюзгшим, с синегато-седой щетиной на щеках, причмокивающим мужчиной, заместителем главного конструктора одного из отделов завода, давним другом Яровцева, как обычно – весь уйдя в разговор, ничего больше не слыша вокруг, и Кира спросила Надежду:

– Пахломов привел тебя?

– Надо же мне было с кем-то прийти. – Надежда потянулась за бутылкой с минеральной водой и взяла ее. – Хочешь?

– А больше было не с кем?

Надежда налила воды в овой фужер и поставила бутылку обратно.

– Ну, а что, собственно, плохого, что с ним?

– Нет, ничего. – Кира посмотрела туда, где рядом с Яровцевой сидел Пахломов, и увидела, как он, накладывая Яровцевой из блюда салат и говоря что-то, едва заметно косит взглядом сюда, в их с Надеждой сторону.

– А больше мне, Кира, и в самом деле не с кем. Романов у меня нет, так – одни связи... – Надежда как-то выжидающе помолчала, отпила из фужера и поставила его на стол. – А Пахломов, сама понимаешь, с радостью. Хочется же ему поглядеть на твоего мужа.

Кира вздрогнула и, боясь взглянуть на Надежду, стала тыкать перед собой вилкой. Вилка упиралась во что-то твердое, – и она опомнилась, увидела, что тычет в скатерть, а тарелка стоит рядом.

Николай сидел теперь с рюмкой у губ, крутил ее в ладонях, облокотившись о стол, время от времени отхлебывал, и, когда глотал, над бровями у него собирались мученические морщины. К их разговору с заместителем главного конструктора присоединился Яровцев.

– ...женщина должна быть растворена в деле мужчины, иначе никакой счастливый брак невозможен. Все счастливые браки, сколько я знаю, именно таковы. – Яровцев на мгновение прикрыл глаза своими крупными, тяжелыми веками. – Да, именно таковы. Нам ведь, мужчинам, которые заняты каким-то делом, не шибко-то сейчас до того, чтобы ублажать женщин. Дело, оно есть дело. Настоящий мужчина не может без него.

– Правильно, Леонид Пантелеймонович, – сказала Кира. – Некогда вам ублажать. Карьеры надо делать, завоеванные позиции удерживать, ну, и так далее. А женщины – бог с ними.

– Киреньш у меня философ. – Николай обнял Киру, прижал ее голову к своему плечу и потерялся подбородком.

Это было так ласково-снисходительно и так по-отечески умудренно, что и Яровцев, и заместитель главного конструктора рассмеялись.

– Да, я шучу, – сказала Кира и высвободилась из объятий Николая. – Где нам, бабам, Гегеля понимать.

Теперь они расхохотались, и Яровцев в изнеможении все бил рукой по столу и хватался за сердце, а Кира ваяла свой коньяк и выпила его единым духом, одним крупным глотком.

Горло перехватило, к глазам подступили слезы, ее всю передернуло, и с минуту она ничего не видела вокруг. Потом стало легче, и она подцепила вилкой посыпанный сахарной пудрой ломтик лимона. Сахар во рту растворился, и лимон сделался кислым и терпким.

– Ты все такая же, Кирочка, – сказала негромко Надежда.

– Такая же? – Морщась, Кира разжевала лимон и проглотила. – Ну, со стороны-то оно, конечно, виднее. – Она посмотрела на Николая, – он снова сидел, положив руки перед собой ладонь на ладонь и навалившись грудью на стол. – Я, пожалуй, поняла, зачем ты пришла с ним...

– Да ведь я тебе уже объяснила. – Надежда поглядела на Киру своими большими, мягкими – шерстяными, сказала себе Кира, – глазами и улыбнулась. – Каждому свое, я не жалуясь, наоборот. Но идти мне было не с кем.

Кира наклонилась к ней и, снизу вверх залядывая в спокойные, улыбающиеся глаза Надежды, сказала:

– Было тебе с кем идти. Стоило только шевельнуть пальцем. Показать мне: ты, мол, такая хорошая, ненавижу тебя, говорила, – а что же на деле? Что же на деле-то... Так?

– Что-о? – протянула Надежда, улыбаясь, обняла Киру обеими руками за плечи, и совершенно отчетливо в голове у Киры голос Яровцевой, с теплыми материнскими нотками, произнес эти же слова: «Что-о? Ах, вон вы как, Кирочка, поняли!.. Неважно себя чувствуете, Кирочка?»

– Все достаточно просто в жизни, – сказала Надежда. – Не надо ничего усложнять. Вот и Елена Николаевна говорила – что-то у тебя с ней вышло. Зачем? Она чудная баба, и мы все втроем так друг к другу подходим...

«Нет, нет, нет, – стучало где-то в висках, сопротивлялось все в Кире. – Пошли вы к дьяволу», – но и мешало что-то оттолкнуть Надежду, убрать ее руки с плеч, хотела – и не могла, и так и сидела, вся сжавшись и словно заledenев, пока Яровцев не встал и, постучав ножом по бокалу, требуя внимания, не начал произносить тост.

Работало центральное отопление, в квартире было жарко и душно, и Яровцев вскрыл заклеенное уже на зиму окно в дальней комнате. В щель между рамой и створкой тянуло сухим морозным воздухом. На подоконнике, как белоснежный заячий воротник, лежал тонкий, пушистый слой снега. Кира дотронулась до него ладонью и отняла, – приставшие сне-

жинки растаяли, и капли стекли по пальцам. Кира нагребла небольшой холмик и стала лепить снежок. Снег был мягкий, податливый, и снежок вышел упруго-тугим и льдистым.

Стонала за спиной с магнитофонной ленты, играя «Очи черные», скрипка, и несколько человек, негромко прихлопывая в ладоши, подпевали ей нетрезвыми голосами. «Очи черные, очи жгучие, очи страстные и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать не в добрый час повстречал я вас...» Среди других голосов Кира различала голос Николая, он фальшивил сильнее всех, и ей казалось, что не в ритм раздающиеся хлопки – это тоже его. Потом она услышала, как кто-то позвал Николая, и, повернувшись, увидела, что в комнате его нет. А Пахломов, с которым после тех, первых, минут не перемолвились больше ни словом, стоял в дверном проеме, прислонившись к косяку, смотрел на нее, и в глазах у него Кира заметила то же покорно-вызывающее выражение, с каким он смотрел на нее тогда, тысячу лет назад, в купе поезда.

«Очи черные» кончилось, пленка, немо пошуршав в динамиках, заиграла блюз. И то, чего боялась Кира, чего она не хотела, молилась, чтобы не было этого, – случилось: Пахломов подошел к ней, склонил голову и сказал негромко, голосом, полным подчеркнутого безразличия, напряженным и задышающимся:

– Можно, Кира?

Руки у нее были мокрые от снега, Кира засмеялась, показывая их, и он обнял ее за талию.

– Догадливы, – сказала Кира.

– Да, от природы, – сказал он без улыбки, и тут же Кира поняла, что помимо их воли, независимо от их желания, в том, как он пригласил ее, как ведет сейчас в танце, как она подняла ладони – мокрые, мол, – в каждом сказанном ими слове сквозит близость, проявляет себя, ее никуда не денешь, она вот как тот золотой зуб у Яроваева.

– Зачем ты пришел? – сказала она, глядя в сторону, в темное ночное небо.

Пахломов теснее прижал Киру к себе, и губы его оказались возле ее виска.

– Потому что я не могу так, – сказал он. – Ты же знаешь. Я не могу так, это не для меня – прятаться от всех, нигде не бывать вместе. Ты мне нужна...

Кира отстранилась от Пахломова.

– Удобное ты нашел место для такой темы... Что ты мне предлагаешь? Уйти? И мне с тобой будет лучше?

У Пахломова дернулось над бровью, он поднял руку и зажал набухший, запульсировавший канатик.

– Все это ты мне говорила уже...

– Правильно. Зачем же снова?

Блюз кончился.

– Киреныш! – заглянул в комнату Николай. – Пожалуй, нам надо собираться?

Утром он уезжал в Москву, сдавать экзамены в аспирантуру, за приготовлениями к нынешнему вечеру Кира не успела уложить ему чемодан, и надо было еще погладить несколько рубашек.

– Да, – сказала она. – Иду.

Яровцева с дивана смотрела на них с Пахломовым благословляющим материнским взглядом и улыбалась.

– Позвони мне завтра. – Кира слегка наклонила голову, как бы благодаря Пахломова за танец, и подошла к Яровцевой.

– Ну, Елена Николаевна, сатрап мой уводит меня...

Ни страха выдать себя неловким словом или неловким движением, ни ужаса оказаться с Пахломовым вдвоем, ни смущения перед Яровцевой и той глухой, но явно ощутимой неприязни к ней, – ничего Кира, к собственному своему удивлению, уже не испытывала.

«А что мне, в общем-то, сторониться их? – спрашивала она себя, одеваясь в прихожей. – Что? Да и зачем? Они интеллигентные женщины, мне с ними легко, и нужны же какие-то близкие люди, кроме мужа?»

Надежда прощаться не вышла, Кира позвала ее, дождалась и сама, подмигнув, поцеловала:

– Ну, мать, ты женщина свободная, веселись.

Снег на улице уже не шел. Мороз покрепчал, дул ветер и свивал снежный холст на асфальте в жгуты поземки.

14

Кире снилось, что она ложится спать и, стоя перед каким-то большим, до пола зеркалом, уже в ночной сорочке и с подколотыми на ночь волосами, снимает с лица ватным тампоном косметику. Лосьон холодит и слегка пощипывает кожу; сильнее всего щиплет под глазами, и Кира на мгновение отрывает вату от лица, смотрит на свое отражение.

И вдруг она замечает странное в своем лице, *что* странное – она не может понять, но какое-то оно не такое, не обычное, каким она привыкла его видеть в зеркале, что-то новое, только непонятно – *что*, появилось в нем; хочет встать к зеркалу, чтобы получше рассмотреть себя, но ничего у нее не получается – она не может сдвинуться с места, ноги словно вкопаны. Она взглядывает вниз – нет, все нормально, из-под подола длинной, до щиколоток сорочки по-обычному выглядывают всегдашние ее домашние тапочки. Но в следующее мгновение Кира сознает, что и с ногами что-то не так, *что* – она не понимает, но ясно и остро чувствует – *это* случилось и с ними, и они – не те, недаром же она не может сдвинуться с места.

И тут Кира видит, как ее отражение в зеркале поднимает руку со смоченной в лосьоне ватой, слегка наклоняется вперед и начинает снимать с лица косметику; и раньше, чем Киру успевают пронзить страхом, она замечает, что выполнила, сделала все, что сделало ее отражение, и, слегка подавшись вперед, чуть склонив голову набок, протирает тампоном лицо.

Наконец с туалетом покончено. Отражение подходит из глубины зеркала, заставляя Киру повторить все свои движения, к самой его плоскости, минуту стоит, неподвижным, сосредоточенным взглядом изучая Киру, потом отбрасывает в сторону уже ненужную вату, и Кира проделывает то же самое, спохватываясь одновременно – зачем же она сорит; но и думать ей уже некогда – отражение вдруг кладет на плоскость зеркала руки, вытягивает их по нему вверх и вжимается в эту нематериальную, несуществующую границу, отделяющую реальное от собственной нематериальной копии. И Кира, моля самое себя найти силы для сопротивления и не находя, тоже вытягивает руки, тоже, сколь можно плотно, вжимается в зеркало... мгновение она ничего не помнит – и вдруг ощущает себя уже там, по ту сторону зеркала – *в нем*, а отражение стоит на полу комнаты и, нехорошо улыбаясь – и Кира тоже улыбается вслед ему, – облизывает губы.

– Так-то ведь лучше, – говорит оно Кире, вдруг со всего размаху бьет по зеркалу кулаком, и Кира, ощущая мгновенную острую боль в кисти и мгновенным же каким-то зрением ухватывая, как зеркало раскалывается и сыплется на пол осколками, кричит от ужаса перед тем черным, громадным, бесконечным, что разверзается перед нею, во что она летит, раскалываясь, рассыпаясь со стеклянным дзиньканьем на то же множество кусков, что и зеркало...

– Ты что? Что такое, Киреныш? – Горел ночник, Николай стоял над ней в одних трусах и тряс за плечо.

Свет ослепил Киру, и она снова закрыла глаза, перевернулась со стоном на бок:

– О-о, господи-и!..

И едва она перевернулась на бок, то бывшее во сне дзиньканье раздалось вновь. Кира в ужасе приподнялась на локте – и поняла, что это звонок, его-то она и слышала во сне.

Николая же, видимо, разбудил только ее крик, и когда из прихожей донеслись перемежающиеся – то длинные, то короткие, то отрывистые – трели звонка, он недоуменно поднял голову.

– Черт, – сказал он, – три часа ночи.

Пришаркивая тапками, он вышел в прихожую, включил свет и, накинув пальто, спросил: – Кто?

Что ему ответили, Кира не расслышала, но он загремел цепочкой, повернул ключ в замке и открыл дверь. Она видела, как рука невидимого из-за косяка мужчины протянула Николаю сложенный пополам листок бумаги, потом какую-то книжечку с болтающимся на шнурке карандашом, Николай расписался, поблагодарил и закрыл дверь.

Он вошел в комнату, сел к Кире на тахту и протянул ей телеграмму.

– Это тебе. Из родных пенат.

– Прочти, пожалуйста.

Николай развернул телеграмму, раскрыл рот, чтобы читать, и Кира увидела, как двинулась у него кожа на лбу, словно за волосы его внезапно и сильно дернули, и глаза сделались бессмысленными и пустыми.

– Что? – спросила она, пугаясь, и схватила его за руку. – Откуда? А-а... – не то чтобы поняла, но каким-то чутьем постигла вдруг она: «из родных пенат», отпустила его руку, ткнулась головой в подушку, но тут же села, подтянув к подбородку колени. – Н-нет... Коленька, н-нет! Я такое подумала... нет, не отец, не отец, Коленька, да? Ну, скажи, скажи!

Николай обнял ее, и Кира почувствовала у себя на затылке его большую теплую ладонь.

– Да? – закричала она, отталкивая его, но не могла оттолкнуть.

– Да, – скорее догадалась, чем услышала она, оттолкнула Николая, упала на тахту, и ей показалось – столько скопилось в груди воздуха, что сейчас ее разорвет от рыданий; но она лежала, обхватив подушку, и слез не было – только один соленый, душивший пузырь воздуха от ложечки до самого нёба. Потом она услышала какое-то скулящее, жалобное подвывание и поняла, что этот жалобный несчастный звук рождается в ней...

* * *

Николай перекладывал свои вещи из маленького чемодана в большой – тот, с которым Кира ездила в Таллин, сутулился, и широкий его тяжелый подбородок был прижат к груди – как всегда у него случалось в минуты особой сосредоточенности и собранности, и Кира поймала себя на мысли, что в последний раз замечала такие мелочи еще летом, до отпуска.

– Ты прости... нескладно у тебя выходит, – сказала она. – Но я боюсь – ничего там одна не сделаю.

– Ну, хватит, хватит, – сказал он мягко, посмотрел на нее и с ободряющей улыбкой качнул головой. – Давай, что ты берешь с собой? Обойдусь и без консультаций, приеду сразу же к экзамену. Экая важность.

– Я его видела последний раз, когда он приезжал к нам на свадьбу. – Кира сидела с ногами на тахте и, обхватив колени руками, смотрела, как блестят в электрическом свете полиэтиленовые пакеты, в которые вечером она самолично уложила рубашки Николая. Блеск их был тускло-слюдянист. – Господи, почему я не поехала в отпуск к нему? Конечно, там нет никакого моря, такой же город, как и здесь, но ведь там – он... нет, не подумала. И самое главное, у него же никого нет, только я... Он, наверное, и еду себе не готовил, ходил в столовую. Ты знаешь, ничего печальней, чем эти одинокие старики, обедающие в столовых, никогда не видела. Хочется прямо плакать, когда смотришь, как они несут свой поднос, как едят... Едят – и руки трясутся...

Николай сел подле Киры, обнял ее за плечи.

– Но у него же была там какая-то женщина, приходила к нему. Помнишь, ты сама говорила? Вот и телеграмму дала.

– Да, да. – Кира разомкнула его руки, спустила ноги на пол и встала. – Это уж я... так. Что, говоришь, буду брать? Да что брать... Это тебе надо, ты оттуда – прямо в Москву, а мне-то что...

Еще только светало, когда они приехали в аэропорт. Николай сдал свой билет, сходил с телеграммой к диспетчеру, и когда взошло солнце и повисло над горизонтом в морозной туманной дымке тусклым красным шаром, они шли через выстуженную бетонную гладь с редкими гребешками снега к трапу самолета.

15

На дверях морга висел замок. Дверь была широкая, двухстворчатая, и вместо ступенек – шершавый бетонный скат, досуха очищенный от снега; чтобы удобнее было сходить с гробом, оцепенело подумала Кира.

Дул ветер, несильный, но холодный, и они с Николаем зашли за боковую стену. Николай достал сигареты и протянул Кире, она помотала головой и, засунув руки в карманы пальто, старательно и аккуратно стала утаптывать снег, наметенный к стене. Шофер грузовика, на котором они приехали, послонялся в сторонке, подошел, попросил сигаретку, закурил и снова отошел.

Кире казалось, что они простояли здесь несколько часов, пока появился санитар и, гремя ключами, отомкнул замок, но на самом деле шофер не успел даже выкурить сигарету.

– Получать? – сказал санитар, открывая дверь и оглядываясь на Киру с Николаем.

Киру всю передернуло от этого обыденного, произнесенного хрипловатым прокуренным голосом слова, и она почувствовала, как Николай тоже смешался, не зная, как ответить. Но наконец он сказал:

– Да...

– Ну, давайте, – сделал санитар приглашающий знак рукой. Ему было лет сорок с небольшим, костистое широкое лицо его имело выражение усталого, равнодушного спокойствия, и под желтыми толстыми усами висел пластмассовый мундштук с погасшей сигаретой.

Они прошли вслед за санитаром внутрь и оказались в неуютно-голом, по-обычному для больничных помещений, коридорчике, покрашенном от пола до потолка известкой. Собственно, это был не коридорчик, хотя по обе стороны от входной двери, у наружной стены, и стояли деревянные диваны, а нечто вроде длинной лестничной площадки: прямо напротив входа размещалась лифтовая шахта, слева от нее была крутая узкая лестница в подвал, а справа – закуток, походивший на комнату без двери, и в нем стоял письменный стол и стул возле, и еще один стол, длинный и высокий, обтянутый черным дерматином.

– Давайте вашу квитанцию, – сказал санитар. Он снял пальто и оказался в белом халате, смявшемся под пальто и не очень свежем. – Сейчас привезу. А вы пока гроб заносите – да сюда вот, – он показал на обтянутый дерматином стол.

Он зацокал подковками ботинок по лестнице, широко разводя колени, Николай, скрипнув дверью, вышел на улицу, и Кира осталась одна. Она села на диванчик у входа, но тут же встала, прошла по коридорчику до закутка, расстегнула пальто, сунула руки под мышки и посмотрела в окно. Никалай с шофером крутили рукоятки запоров, открывая задний борт. Кира вынула руки из-под мышек, запахнула пальто и, обняв себя за локти, прошла по коридорчику в обратную сторону, до лестницы. Из подвала тянуло холодом и запахом формалина.

То, что все это время, прошедшее с получения телеграммы, представлялось порою чуть ли не выдумкой, а если и свершившимся, то все же как бы не с ее отцом, а с кем-то другим, было теперь так близко, так ощутимо, что все в ней, каждая жилка, дрожало от бесповоротности случившегося, от невозможности ничего обратить вспять, от неотвратимости того мига,

когда она должна будет своими глазами, своими руками – всеми своими чувствами удостовериться в правде тех слов, что содержались в телеграмме; и как тогда, ночью, когда она только узнала об этом, Кире казалась, что вся грудь у нее, от ложечки да гортани, – один тугой, горячий воздушный пузырь, она чувствовала, что единственная возможность избавиться от него – слезы, но слез у нее не было.

Заскрипела дверь, распахнулась, пятась, вошел Николай, и вслед за ним в дверь просунулся гроб. Кира кинулась к двери, попридержала одну из створок, чтобы мужчинам удобнее было пройти, они прошли, поставили гроб на стол и сняли крышку.

Лифт вдруг лязгнул, загудел электромотор, и кабина серой массивной глыбой уплыла вниз, обнажив крашенную известкой стену лифтовой шахты. Слышно была, как в подвале открылась дверь, в кабину зашли, дверь хлопнула, и электромотор снова загудел.

Кира вцепилась Николаю в рукав пальто, закрыла глаза и прижалась лбом к его плечу. Она услышала, как поднялась и остановилась, коротко взлязгнув, кабина, хотела открыть глаза и не смогла, хотела спросить Николая: «Да?» – и тоже не смогла. Она ждала, когда дверь лифта откроется, но дверь не открывалась, и Николай стоял все так же неподвижно, глядя ей свободной рукой плечо, и Кира открыла глаза.

Санитар поднимался по лестнице, на пегом лице его было выражение рабачей сосредоточенности.

– Чей отец-то? – сказал он, выходя в коридорчик, и безошибочно, с профессиональной уверенностью определил, кивая головой на Киру: – Ваш?

Она ничего не смогла ответить, воздух, плотно забивший грудь, звенел в ушах, и вместо нее ответил Николай:

– Наш.

– А-а, – протянул санитар, снимая замок с двери лифта, и Кира, каким-то отчужденным, словно бы не своим сознанием, подумала: он их посчитал за Брата и сестру.

Санитар вытолкнул из лифта каталку, – и опять этим же, отчужденным сознанием Кира отметила, что к подошве выглядывающих из-под простыни туфель пристала то ли высохшая травинка, то ли выцветшая полоска бумаги. Николай помог санитару развернуть каталку, тот захлопнул дверь и отвернул простыню с лица лежавшего под ней человека.

И тут Кире почудилось, что у нее хлынула горлом кровь. Но это была не кровь, это провалился горячий воздушный пузырь в груди, и Кира почувствовала, что слезы бегут у нее по лицу, и поняла, что уже не держится за рукав мужниного пальто, а лежит, обхватив руками дорогое тело, поперек каталки, и голова ее мотается из стороны в сторону...

– Ну, милый мой, милый мой... Киреньш... – услышала она наконец голос Николая. – Ну, родной мой, ну... Дома еще побудешь с ним, дома... слышишь?

И все, что было потом: дорога домой с невыносимым, кощунственным гроыханьем гроба о передний борт, когда машина тормозила у перекрестков, гроб на письменном столе – за ним она делала когда-то домашние задания, – прощание, вынос, Ольга Петровна, жещина, с которой отец провел последние свои годы и которую она совсем почти не знала прежде, идущая с нею под руку, какие-то другие люди, что-то говорившие ей, стук молотка, вгонявшего в крышку гвозди, опускание гроба на вымазанных в желтой глине веревках туда, вглубь, и твердый стук заледенелой земли о дерево, поминки и опять какие-то люди, опять что-то говорившие ей, – все это запомнилось Кире одной тупой, непроходящей болью в сердце, запахом валерьянки и соленым вкусом слез на губах.

* * *

Очнулась она уже вечером. В окнах было темно, горел торшер в углу комнаты, отбрасывая на потолок кружок желтого света, перекрещенный посередине теньями от проволоочной

арматуры, стучали, медно поблескивая качающимся туда-сюда маятником, большие стенные часы в коричневом, покрытом лаком футляре. Она лежала на диване, под шерстяным одеялом, а рядом сидела Ольга Петровна. Глаза у нее были несчастные, усталые, темно обведенные полукруглыми синяками.

– Я... что, – сказала Кира, приподнимаясь. – Спала?

– Спали, – кивнула Ольга Петровна и быстрым, каким-то суетливым движением провела морщинистыми, старушечьими уже почти руками по лицу, словно стирала с него пыль. – Немножечко... Это хорошо. Сон, он ведь такую силу имеет: от всех печалей излечивает.

В комнате уже было прибрано, все на своих местах, стол чист, и за ним сидел Николай и что-то писал на листке бумаги.

– И посуду вы помыли, Ольга Петровна?

– Помыла. Соседям отнесла, которая не наша... – Она запнулась. – Ну... которую у кого одалживали. Ждала вот, когда вы проснетесь. Мало ли что... Теперь пойду. Завтра увидимся.

– Да, завтра.

Ольга Петровна ушла. Кира села на диване, положив руки на колени, и долго сидела так, глядя прямо перед собой и ни о чем не думая. Изредка она взглядывала на Николая, он что-то высчитывал, чиркая шариковой ручкой, сутулился, и подбородок его был прижат к груди, над бровями дугами собрались морщины, и губы время от времени шевелились.

– Киреныш, – сказал Николай, не отрываясь от бумаги. – Завтра ведь нам улетать.

– И что? – отозвалась она.

Он провел черту, написал под ней какую-то цифру, положил ручку и, развернувшись на стуле, забросил ногу на ногу и сцепил на коленях руки.

– Ты ведь что-то хочешь взять на память? Какие-то вещи – его, отца... Ну, вот часыменные. Помнишь, об его именных часах рассказывала?

– Да, да, правильно, – сказала Кира, радуясь, что Николай напомнил ей обо всем этом, и именно сейчас – завтра уже будет не до того. – Часы – обязательно, я, знаешь, так любила на них смотреть в детстве. Они не идут, правда, но ведь это не имеет значения, да?

– Конечно. – Николай кивнул и заглянул в бумагу, лежавшую перед ним. – И надо узнать у Ольги Петровны, что бы хотелось взять ей. Вот она обмолвилась – телевизора у нее нет, может быть, возьмет? Надо с ней с самого утра завтра это обговорить. Комната отойдет райисполкому, все, что ни ты, ни она не возьмете, я свезу завтра в комиссионный.

– Да-да, – снова сказала Кира, с благодарным облегчением думая о том, как это хорошо, что ей не нужно ничего решать, а все решает за нее и делает Николай. – Значит, мебель в комиссионный... А остальное?

– А вот и надо сейчас все посмотреть. В крайнем случае, наберется много – отправим багажом.

– Господи, Коленька!.. – сказала Кира, вставая. – Голова ведь ты у меня. Что бы я здесь одна делала? Я бы свихнулась. – Она подошла к Николаю, провела рукой по его мягким, коротко стриженным волосам и прижала его голову к своему животу. – Хороший ты у меня мужик, Коля...

– Ну-ну. – Он легонько, чтобы не обидеть, шлепнул ее. – Чижик мой. Давай будем смотреть.

Он встал, подошел к гардеробу и открыл левую половину – с полками, две из которых были когда-то ее, Кириными, и даже потом, когда уехала в институт, долго еще принадлежали ей, и отец ничего на них не клал. На полупустых полках лежало постельное белье, отцовская одежда, тюлевые занавески, плед, электрическая бритва, стоял одеколон и свинцовый восстановитель для волос.

Кира открыла правую створку. Во всю ширину и длину ее было вделано зеркало, и Ольга Петровна, закрывая зеркала, завесила и его.

– Можно ведь снимать?

– Конечно.

Кира открепила булавки, которыми материя была приколота к дверце, и из зеркалаглянуло на нее ее отражение – изможденная женщина с опухшими красными глазами, волосы сваялись, спутались, страшно смотреть, – совсем не она.

И как только она подумала: «Господи, совсем не я», – ей показалось, что все это – тот самый страшный сон, он повторяется, и сейчас отражение заставит ее делать то, что хочет оно, и она непроизвольно дернула рукой, чтобы проверить – неужели правда. Но это был, конечно, не сон, и сердце ее вернулось понемногу на место, и она снова посмотрела на себя, и тут ей стал вдруг ясен жуткий смысл того сна, то есть и не смысл, потому что сон не поддавался объяснению, да и не было, в нем никакого ясного, четкого смысла, просто ей стало ясно, почему он приснился и что значил этот дикий, пронзивший ее во сне ужас...

Она захлопнула дверцу и огляделась кругом. И теперь наконец не отрывочно, не разумом, а каким-то внутренним зрением она увидела, что это та самая комната, в которой прошло все ее детство, отсюда она уехала поступать в институт; все тут было знакомо, и руки помнили, где, с какой стороны стоят в буфете тарелки и где лежат ножницы... увидела, что это *ее* комната. И может быть, единственная *ее* комната, хотя были потом и комнаты в общежитии, и комната в квартире свекрови, и двухкомнатная кооперативная квартира на двоих с мужем; но эта – единственная *ее* комната, и не потому, что здесь выросла, а потому, что здесь жил отец... И вот его нет больше, и она никогда больше в эту комнату не войдет, – все, теперь все; и ее место для жизни там, в другом краю, за две с половиной тысячи километров, и единственный, кто у нее остался, – это Николай.

Кира стояла, прислонившись к гардеробу, прижав к груди руки со сжатыми в кулаки пальцами, и беззвучно плакала, глотая бежавшие по лицу слезы.

Николай отвел ее на диван, накапал валерьянки и снова уложил, накрыв все тем же шерстяным одеялом. Посидев возле нее и дождавшись, когда она успокоится, он поднялся и стал сортировать вещи, вынося их на середину комнаты.

16

– А, ниспровергатель основ! – сказал Николаю Сарайцев. Он вышел из-за стола, вскинул обе руки вверх, и так, с размаху, бросил их вниз, для рукопожатия. – Я тебя тут уже как-то видел, я метро, недели две назад. Что же это такое: две недели – и не зайдешь?

– А ты меня спроси, куда я вообще заходил? – засмеялся Николай. – Я ничего эти две недели, кроме учебников, и не видел.

Экзамены остались позади, был подписан приказ о зачислении, – и со вчерашнего дня он испытывал непрекращающееся чувство блаженства, умиротворенного довольства, ему казалось – жизнь вступает в какую-то новую – зрелую – пору, становится осмысленней, наполненнее, собственно, сейчас, может быть, только и начинается.

– А, вон как, вон как, – покивал Сарайцев. Густые, рано начавшие сесть волосы его блестели ухоженно и благородно. – Так можно поздравить?

– Можно.

– Поздравляю! – Сарайцев развел руками – как будто всегда был уверен в благоприятном исходе, и вот его предчувствие оправдалось, и зря Николай волновался. – Это хорошо, хорошо... Да, так присаживайся. – Он сел на свое место и, дождавшись, когда Николай тоже сядет, снова сказал: – Это хорошо...

Стол его стоял возле окна, и отсюда, с восемнадцатого этажа, Николай видел далеко, в сизый морозный туман уходящие бесчисленные крыши, утыканные крестами телевизионных

антенн, кое-где они расступались, и видны были улицы, и по ним, неправдоподобно крошечные, ползли машины.

– Я к тебе что зашел, – сказал Николай. – Не просто ведь так.

– Ну, ясно, – кивнул Сарайцев. – Кто же из вас заходит в министерство просто для того, чтобы кого-то увидеть. Все по делам.

Николай познакомился с Сарайцевым в одну из командировок – ту как раз, когда Кира воспользовалась его отсутствием и сделала аборт, – пять дней с утра до вечера они сидели за одним столом, над привезенными Николаем бумагами, а по окончании работы, оба довольные принятым ими компромиссным решением, посидели еще вечер за столиком в ресторане, и с тех пор у них установились те неловкие, вроде бы дружеские, но в глубине-то никакие не близкие отношения, когда неудобно перейти к прежним, официальным, но и дружеские не получаются – недостает сил.

– Дело у меня великое. – Николай засмеялся. Со вчерашнего дня смеялся он порою совершенно даже беспричинно. – В долг двадцать пять рублей. Дашь?

Сарайцев молча полез в карман, вынул портмоне и, раскрыв его, достал двадцатипятирублевую бумажку.

– А достаточно?

– Достаточно. – Николай взял деньги и, аккуратно свернув их, положил в бумажник. – Тесть у меня умер... Сейчас вот апельсинов хочу купить, косметику кое-какую для жены, а не на что.

– Понятно. Когда отдашь?

– Приеду, перезайму у матери и вышлю.

– Ага. – Сарайцев кашлянул, и Николай увидел, что ему сделалось стыдно за свой вопрос. – А что... что это за историю ты опять начал, с АСУП этой?.. Что это за письмо из «Правды» переслали начальству? Ниспроверяешь?

– А-а! – Николаю было приятно, что Сарайцев, хоть и в шутку, называет его ниспровергателем. – Да так... Знаешь ведь.

– Знаю... Смотри, как бы это все... Тогда тебе повезло, такое не повторяется. Слава славою, да... в общем, смотри.

– Ничего, – опять рассмеялся Николай. – Не круглый же я дурак... Можно от тебя позвонить, кстати?

– Звони. – Сарайцев повернул аппарат диском к Николаю, встал и, взяв какую-то папку, вышел из комнаты.

Николай набрал код своего города, Киринов телефон, телефон Сарайцева – в трубке пискнуло два раза – и стал ждать. Писем он не писал это время, последний раз звонил жене почти неделю назад – заанимался, потом забежался с оформлением документов, и сейчас, ожидая соединения, он чувствовал в себе некоторую виноватость.

Он был доволен женой, она нравилась ему физически, плохо было лишь то, что после тех, неудачных родов она боялась снова рожать... Но что бы и как бы там ни складывалось у них, он всегда чувствовал ее женой – половиной, и никогда у него не появлялось мыслей о других женщинах; от добра добра не ищут, а Кира чудесная женщина. Вот только нынче весной она была слишком раздражительной. Но и всего лишь!

В трубке щелкнуло, раздались длинные гудки, и Николай, глядя в окно, на тонувшие в сухой зимней дымке крыши домов улыбнулся, предвкушая радость ее голоса: «Коленька!» – в этот его отъезд она как-то по-необыкновенному радовалась, когда он звонил. Но трубку никто не снимал и не снимал, Николай посмотрел на часы и вспомнил: у них же сейчас обед.

Он нажал на рычажок, отпустил и набрал номер Яровцева.

– Слушаю вас, – отозвалась мембрана, и Николай увидел, как Яровцев, слегка наклонившись, протянул через стол руку, снял трубку и, облокотившись, поднес ее к уху: «Слушаю вас».

– Добрый день, Леонид Пантелеймонович, – сказал Николай. – Касьянов говорит. Только не из соседней комнаты, из Москвы.

– Добрый день, Николай Андреич, добрый день. – Голос Яровцева изменился – утратил высокомерные начальнические нотки и стал ласково-благожелательным. – Ну что, как дела? Ваша жена звонила, беспокоилась: вы уже неделю ей вестей не подаете.

– Нормально дела, Леонид Пантелеймонович. Вчера был приказ, я зачислен.

– Поздравляю, Николай Андреич. Ну, поздравляю!..

Они поговорили еще немного, Яровцев со смешком пообещал навьючить Николая работой в соответствии с его новым положением, и Николай попросил Яровцева, если это не окажется очень обременительно, позвонить Кире, сообщить, что сегодня он выезжает.

Вернулся Сарайцев. Они перекинулись еще парой слов и стали прощаться.

– Ну, что ж... Не сгоришь на своих письмах, кончишь аспирантуру, помозгуем – может, и в Москву переберешься, – сказал Сарайцев.

Николай пожал ему руку.

– Начну гореть – будет кому потушить.

Он спустился вниз, оделся и вышел на улицу. Калининский проспект был по-обычному шумен, многолюден, неслись машины, в морозном воздухе стоял несильный, но явственный запах выхлопных газов. Николай зашел в парфюмерный магазин, купил Кире флакон арабских духов, потом зашел в гастроном и набрал две полные сетки апельсинов.

Чтобы доехать до общежития, в которое его поселили на время экзаменов, ему нужно было в метро, но до отхода поезда оставалось еще достаточно времени, и он свернул с центральных улиц, пошел переулками на троллейбус. Переулки были безлюдны, просматривались насквозь, и в конце их, где они выходили на транспортную магистраль, в проеме, образованном расступающимися домами, проносились беззвучно и скоро машины и промелькивали темные людские фигурки. Николай шел и наслаждался покоем этих затерянных в самом центре шумного города переулков, дремотной их тишиной, и ему приятно было думать о том, что, может быть, через три, через четыре года он сможет ходить по ним не как приезжий, временно заскочивший по каким-то своим делам командированный, а как полноправный москвич – с работой в одном из тех солидных учреждений, одно наименование которых в его городе вызывает благоговейный трепет, с московской квартирой, пусть и не здесь, не среди этих переулочков, ткущих свою паутину по центру, а где-нибудь на Юго-Западе или в Чертанове, но все равно – в Москве, потому что, хочешь не хочешь, а все здесь: и институты, и министерства, и прочия, и прочия...

Он дошел до остановки, сел в троллейбус, и тот покатило его вдоль старых, еще дореволюционной постройки домов, с узкими тротуарчиками возле них, потом – вдоль «сталинских», мощного, крепостного вида, тяжело вздымавшихся над крышами короны «торгов», вдоль магазинов, станций метро, людских потоков, вжатых в русла тротуаров, – и все это настроило Николая уже на другой лад: он стал вспоминать, все ли сделал, не забыл ли чего, достал из внутреннего кармана пиджака записную книжку с записями необходимых дел – почти напротив каждого пункта стояла запись «вып.» – выполнено, – и напротив пунктов шестого и десятого – «купить апельсины», «купить духи» – он тоже, с удовольствием поставил: «вып.»

В общежитии Николай собрал чемодан и, заварив стакан крепкого, черного чая, сел просматривать отпечатанные ротаторным способом книжечки методических указаний, которые выдали ему после приказа о зачислении. Он пил чай, развернувшись к столу боком и закинув ногу на ногу, внизу, под окнами, время от времени проходили троллейбусы, и в открытую форточку доносилось мокрое шлепанье их шин о посыпанный песком и солью асфальт.

Нет, думал он, как бы и что бы там ни было, а жизнь у него складывается совсем, совсем неплохая!

За окном начало темнеть, троллейбусы пошли чаще – начинался час «пик»; пора было выходить, ехать на вокзал.

Николай позвал коменданта, сдал ему комнату, оделся и, взяв чемодан, спустился на улицу.

* * *

Кира встретила его на перроне радостная, сияющая – он ее давно не видел такой, – раскрасневшаяся от мороза; щеки ее пахли свежестью, здоровьем, зимой и еще чем-то неопределенным, но таким же прекрасным. Обхватив Николая за шею, она повисла на нем, болтала ногами и говорила на ухо, смеясь:

– Какая у тебя женушка, м-мм? Прелестюшка, да?

И уже стоя на земле, снова обнимая его:

– Господи, как ты долго... я с ума сошла!

Была ночь, светофоры на перекрестках мигали желтым, и такси несло по городу, нанизывая на себя эти перекрестки, как на шампур. И, ощущая на плече тяжесть привалившейся к нему жены и бережно придерживая ее за талию, Николай вдруг подумал счастливо: «Все будет хорошо, все».

Дома его ждал на столе испеченный Кирой пирог, бутылка венгерского сухого вина, и так кстати пришлось к этому столу привезенные им апельсины!

Постель в спальне стояла уже раскрытая. Белье было свежее, чистое, только что из прачечной, прохладное и тоже пахло морозом.

И когда они лежали, и это морозное, знобившее сначала белье стало уже горячим, Кира сказала, прижимаясь губами к самому его уху, обжигая ему кожу своим дыханием:

– Коленька, хочу ребенка. Милый мой! Очень хочу. Что я, в самом деле, не баба? А?!

...Потом, когда Кира уснула, Николай осторожно высвободил свою руку из-под ее головы, встал, надел халат и вышел на кухню. Там, не включая света, он нашарил на столе ее сигареты, спички и закурил. Соседние дома были темны, без единого огонька – черные каменные глыбы, только отбрасывали бледно-сиреневые снопы света ртутные светильники на пустынном, похожем на неподвижную, со стоячей водой, реку проспекте.

Николай стоял возле окна, смотрел на все это и курил. Он думал о тех годах, которые прожиты, и о тех, которые еще предстояло прожить; что именно думалось, он и сам не очень отчетливо понимал, просто он чувствовал: у него все будет хорошо в жизни, все.

Год 1973-й

Свадьба

У слесаря ремонтных мастерских Петра Гмыржева забеременела дочь.

Новость эту сообщила ему жена – вечером, после ужина; дочь ушла к вечерней дойке на ферму, сами сели смотреть телевизор. Тут жена, заходя издалека, понеся поначалу какую-то околесицу про то, что спутники в небе летают, а в селе на главной улице все никак асфальт проложить не могут, и сказала ему:

– С девкой у нас несчастье, отец. Да тако, что и вожжой ведь не перетянешь – сама вся от слез измочалилась...

У Гмыржева выдался нынче трудный день: механик послал его с утра в дальнее отделение на ферму – оттуда позвонили, сказали, что транспортер остановился, – машины не дал, и Гмыржев топал пешком шесть километров туда, шесть обратно, да там еще не поел – никто не позвал, а столовки, как здесь, на центральной усадьбе, там никогда не было – и вернулся он обозленный, голодный, с голоду переел, и теперь сидел с раздувшимся животом, маялся отрыжкой. Поэтому он не особо вскинулся на слова жены, чуть только повернул от телевизора круглую, в седом бобрике голову, глянул на нее одним глазом и хохотнул:

– Нагуляла, что ли?

– Ну, – сказала жена.

– Да... ты что! – У Гмыржева под скулами враз похолодело. – Я ж пошутил, ты что такие шутки подхватываешь?

– Дак угадал коли...

Гмыржев как сидел на стуле, так и повернулся к жене вместе с ним, прокарябав ножками по крашеному полу.

– От кого?

– От Васьки Коржева сына. В отпуск он из армии приезжал...

– Ой-ей! – сказал Гмыржев. – Ой-ей!.. – Зажал голову руками, встал, пробежался по избе, остановился перед женой. – А может, напутала она что? Может, и не беременна вовсе?

– А то б она мне созналась! – Жена сунула руку за ворот платья, вытащила, зашуршав, оттуда конверт и протянула его Гмыржеву. – Да вот оно еще что... Читай.

Письмо было от Коржева-младшего. «Здравствуй, уважаемая Нина Гмыржева! – писал он. – Обрати внимание, я называю тебя уважаемая, это значит, я тебя уважаю, как всякую женщину, хотя, извини меня, письмо твое я нашел для себя очень унижительным и мог бы на него вообще не отвечать. Но я, обрати внимание, отвечаю. Потому что чувствую потребность объяснить тебе ситуацию и положение вещей. Я находился в отпуску чистым весом десять ден, из них пять гулял, два помогал бате менять венцы у баньки, один день провел в поле, помогая нашему с тобой совхозу, а еще один у себя на огороде, потому как там тоже была работа. И только один день из этих десяти провели мы с тобой не врозь – ездили в Красноуфимск на концерт эстрады из Свердловска, и то там к нам пристали шуртанские ребята. На основании всего этого, я думаю, ты можешь заключить, что мне трудно связать свою судьбу с твоей. Врачей у нас теперь много, порядки не старые, дореволюционные какие-нибудь, тебе помогут. С ефрейторским приветом – Геннадий Коржев».

– Видал? – сказала жена, когда Гмыржев дочитал письмо и отдал ей вырванный из тетради, разлинованный в клеточку, обмусолившийся лист. – Вот так, отец. Четвертый, говорит, месяц кончается...

– Что же делать-то? – спросил Гмыржев.

Он всегда терялся в тех случаях, когда нужно было что-то решать: будто слепой становился – не видел, куда идти. – Что же делать-то... Нужно ей еще было – не с кем-нибудь, а Васьки Коржева сыном...

Жена сидела на краешке дивана, руки у нее были сложены на коленях, плечи опущены.

– К Ваське Коржеву, может, пойти? Сказать: так, мол, и так.

– Ой-ей! Ой-ей!.. – снова проговорил Гмыржев, подбежал к телевизору, выключил, сел к столу и тут же снова вскочил. – Да ты как, мать, говоришь, ты думаешь? Это как мы к нему пойдем?

– Да ты сядь! – прикрикнула жена, покрутила зачем-то головой, сглотнула слюну, и глаза у нее покраснели. – Я, может, вся сопрела от мыслей своих, пока тебе не открывала, а не бегала же...

– Ну-ну, что ты... что ты!.. – просяще сказал Гмыржев. – Ни к чему это... что ты! – Он присел на лавку возле окна, сжал полинялые губы гузкой и сосредоточенно посмотрел сквозь изрыбленное дождем стекло на расквашенную осеннюю дорогу. По дороге, проваливаясь в ямы, раскачиваясь из стороны в сторону, прополз директорский «газик». – Ты не шуми на меня, что ты... Ты-то давно знаешь, а я только что.

– Точно, что к Коржеву надо идти, – грустно сказала жена. – Надо ведь? Что нам их бояться? Не съедят, поди. Дак и съедят если. Девка-то наша, как дура, обманутая...

– Ну-ну! – поддакнул Гмыржев. У него вдруг так все и задрожало внутри: ах, собака, как складно написал: «Врачей у нас теперь много, порядки не старые, дореволюционные какие-нибудь, тебе помогут...» Ах, сукин сын, грамотный какой! – Ну, так а что говорить-то им будем? – спросил он. – Пусть, мол, женится, что ли?

– А и то! – сказала жена. – А там поглядим. Ты б сходил, а? Дождичек-то небольшой – так, сеет...

Гмыржев вскинулся ошарашенно:

– Дак что, прямо сейчас?

– Ну а что? – просительно посмотрела жена. – Идет время-то.

– Дак как-то, – забормотал Гмыржев, – как-то так это... А, ладно, – махнул он рукой. – Пойду давай.

– Сходи, – сказала жена. – А то уж Нинка измочалилась вся – ревет и ревет...

Гмыржев надел вытасенные женой из гардероба хромовые сапоги, белую нейлоновую сорочку, пиджак, а поверх – выходной «болоньевый» плащ. Была к плащу еще круглая, вроде берета, на резинке шапочка, но ее Гмыржев не носил, и на голову надел повседневную свою серую, с пуговицей на макушке кепку.

– Ох, тяжело! – вздохнул он, сдерживая очередную отрыжку и помяв живот. – Каб знал, не наедался б.

– Ниче, – насильно улыбнулась жена. – Пока идешь – утрясется. Не близко идти-то.

2

На улице по-прежнему, не усиливаясь и не утихая, шел дождь. Трава уже по-осеннему помертвела, вылезла, и облысевшие обочины были осклизлые, в ямы налило воды. Гмыржев потоптался, жалея, что надел хромовые сапоги, подумал – не вернуться ли, не переобуться ли в кирзовые, но забоялся, что не будет пути, сунул руки в карманы и пошел, оскальзываясь, раскорячивая для устойчивости ноги.

Коржевы жили на другом конце села, за оврагом – то есть раньше еще, когда жизнь их сводила, там жили, ну да услышал бы он, если б переехали... а и к чему им переезжать?

По дороге, крикая рессорами на ямах и скрипя бортами, протаскилась к ферме машина, высоко груженная сеном, в грязь на колдобинах летели сенные ошметья. Гмыржев хотел было

кинуться за машиной, попросить подвезти до моста, где дорога разветвлялась, и вдруг обнаружил, что ноги будто магнитом притянуло к земле, не побежать – такая обида в груди. И не на Коржева-младшего, который – подлец, сукин сын: «трудно связать свою судьбу...» – а на весь белый свет: да отчего это так, отчего так должно происходить: растишь, растишь, заболит – весь истрясешься: хоть бы жива осталась, не умерла, а выросла – хуже всякой болезни бойся: чтобы не насильничали, дите не сделали, чтобы по рукам не пошла... Что же это такое, зачем так? Сын вон тоже пишет: хотела тут одна обпечатать, да на Севере, слава богу, мужиков много – другой уже ходит. Что там у них было, какие он там слова говорил – пойдешь догадайся. Может, почище, чем этот ефрейтор в письме своем...

Калитка в воротах у Коржевых оказалась заперта, и Гмыржев, подобрав валявшуюся под электрическим столбом палку, постучал ею в ворота. К нему никто не вышел, и он постучал снова. Но и снова никто не вышел, и тогда он, примерившись, бросил палку в ставень окна, покосившийся ставень задребезжал, взвенькнуло в раме стекло, и через секунду Гмыржев услышал, как заскрипела дверь.

– Кто буянит, обалдел, что ли? – закричал с крыльца мужской голос.

– Какое там буянит... – Гмыржев вдруг вспомнил о куреве, трясущейся рукой нашарил в кармане пачку и, хоронясь от дождя под козырьком ворот, прикурил. И только после этого смог продолжить: – Гости к вам.

С крыльца сошли, брякнула щеколда, – перед Гмыржевым стоял в сатиновых на резинке штанах и клетчатой, разодранной на рукаве ковбойке старший Коржев – повар сельсоветовской столовой. Красное мясистое лицо его с толстыми приоткрытыми губами выразило смущение. Он стоял, смотрел на Гмыржева и молчал.

И у Гмыржева тоже снова отнялся язык: зажав сигарету в кулаке, вдыхал-выдыхал дым, таранился на Коржева и не мог выговорить ни слова.

Вот как она, судьба, распорядилась: второй раз их свела. В селе добрых семьсот дворов, идешь в мастерские, идешь – ноги собьешь, пока притопашь, нет, опять с Коржевым судьба их свела. Пятнадцать лет назад это было, больше даже. После смерти матери через два месяца отец коржевскую тещу в дом привел. Поговаривали люди, будто и раньше коржевская теща к отцу кой-какое отношение имела, ну да это не проверишь... А уж плох был отец – сердце, печень, два раза за полтора года, что прожил с новой женой, в больнице лежал. В третий не вышел. Как она, коржевекая теща, убивалась – вместе из больницы брали, в дом везли: повалилась в телегу, вся в сене, трухе, воеет, лицо мертвое целует, ой, милый, красивый, не было мне счастья, дал бог каплю – и ту забрал. Милый, красивый... Тогда-то, в первый раз и единственный за все время, Гмыржев и подумал: может, и вправду любила она отца?

А через два дня – новостишка. Я, говорит, дом свой, когда с отцом твоим женились, продала, здесь жить останусь. А у тебя, мол, – у жены родителей дом, там и поселяйтесь. Здорово как обернула: у родителей твоей жены дом, а у ее дочери, замужем за взрослым мужиком, дома нет. Эх обернула: дочь не уплотнит, а чужие люди – на пол спать ложись. Да-а...

Пятнадцать лет отгрохало.

– Пригласишь, может, под крышу, а? – выговорил наконец Гмыржев. – Я к тебе не под дождем мокнуть притопал-то...

– Давай. – Коржев повернулся и пошел по проложенным к дому доскам впереди Гмыржева.

Войдя в сени, он остановился и, обернувшись, посмотрел вниз, на гмыржевские сапоги.

– Снять бы. Грязи-то намотал сколь.

– Да уж не обессудил бы меня, такого принял. – Все у Гмыржева внутри так и дрожало, сигарета прыгала на губе, пепел сам стряхивался. – Может, родственниками скоро станем.

– Чего? – Коржев поднял голову, осмотрел Гмыржева маленькими серыми спокойными глазками.

– Родственниками, говорю.

– Ну-у? – протянул Коржев, еще больше приоткрыл свои толстые губы и хмыкнул. – А уж вроде мы были раз... Что, восстанавливаться, так сказать, пришел? Примите, мол, по собственному желанию?

– А ты бы не шутил. Не шутил бы, ей-бо. Дошутились. Сын твой дошутился. Генка. До серьезного...

В полупотемках сеней, свет в которые входил только из приоткрытых наружных дверей, Гмыржев увидел, как красное лицо повара будто заизвестилось.

– Чего дошутился? – спросил он хрипло. – Ты-то при чем?

Гмыржев первый раз, как закурил, вытащил сигарету из рта, выдохнул дым, весь, какой был.

– Да пригласил бы в избу. В сенцах-то ловко говорить...

Коржев глянул на его сапоги, отвернулся и открыл дверь.

Изба у него, как и у Гмыржева, была разгорожена на комнаты, и они оказались на кухне. В глубине дома работал телевизор. Гмыржев увидел жену Коржева, сидевшую на стуле, она обернулась ко входу – в халате, на городской манер. Коржев закрыл дверь в комнаты, сел на табурет возле печи, прислонился к ней и показал Гмыржеву на другой:

– Давай.

Гмыржев расстегнул плащ, расстегнул пиджак, чтобы побольше была видна дорогая нейлоновая рубашка, и сел, уперев левую руку о колено, вывернув наружу локтем.

– Значит, так... – начал он. Вынул сигарету из рта, огляделся, куда стряхнуть, Коржев не шелохнулся, сидел, смотрел, растопырив губы, и Гмыржев стряхнул пепел себе в руку, подержал, пока остынет, и стряс в карман плаща. – Так, значит, – сказал он снова. – Да... В общем, хошь не хошь, а ждет моя девка от твоего – наработал, когда в отпуск приезжал. В совхозе, пишет, работал, в огороде у себя работал, ну, видать, мало его работой обеспечили, решил со стороны прихватить...

Начал Гмыржев говорить спокойно, но как заговорил о письме – так опять вспомнил его все: «Здравствуй, уважаемая Нина Гмыржева! Обрати внимание, я называю тебя уважаемая...» – и прямо хоть кричи благим матом, хватай себя за грудки, рви рубаху...

– Ага! – сказал Коржев, и закивал головой, и усмехнулся, и лицо у него уже снова было красным, и маленькие глазки снова смотрели спокойно и проницательно. – Ага... Так и что же я должен? Скажи. А то я понять не могу. Цельный час уж. Как ты палкой в окно швырнул.

– Что должен! Что должен! – Гмыржев не выдержал, вскочил, смял сигарету в руке. Ладонь обожгло, он выронил сигарету на пол и затряс рукой. – Не ясно, а? За баловство отвечать надо, вот что! Совесть нужно иметь, вот что! Где у него совесть-то, а?

– Совесть, значит, совесть... – мягко, ласково даже закивал головой Коржев и вдруг тоже вскочил, поднес кулак к лицу Гмыржева. – А у тебя, скажи, совесть была, когда ты мою тещу зимой, в мороз, из дома выгнал?! Помнишь? Она ж с отцом твоим зарегистрирована была – имела право! А ты? У-ух, ты!

Гмыржев растерялся. Не было такого, не выгонял он коржевскую тещу, просто сказал, что из дому они не уйдут, а ей сподручнее с дочерью жить – вот и все. Да и когда это было! Пятнадцать лет назад. Конечно, не след бы им с Коржевым снова сходить, ох, не след... ну да куда ж денешься – судьба свела!

– Да что, – забормотал он, отступая от Коржева. – Что тебе теща... мать, что ли...

– А может, и больше матери! Ясно? Дома ее лишил! А ведь она свой продала – на те деньги отца твоего выхаживала. Катись-ка, баба, к дочери, пошевеливайся! Ваша сила была... – Коржев вдруг как запнулся, снова сел на табурет, прислонился к печи и, не глядя на Гмыржева, сказал: – Обида у меня на тебя. На всю жизнь. Ясно? За сообщение ценное – спа-

сибо! Напишу парню. Не хочет жениться – на комком, а на твоей крови благословлю только. Ясно? Да ты что ко мне шел? Дурак совсем, поди? Мне ведь тебя двустволкой встречать надо.

– Что? А? Ружьем?! – Гмыржева всего трясло, зеленые круги плыли перед глазами. Он не помнил, как у него в руках оказалась табуретка, – он ее держал за ножку и колотил по двери, перегородке... обои порвались, повисли клочьями, из-под них вылезли газеты и тоже порвались, обнажились доски – сосновый горбыль...

3

Очнулся Гмыржев уже на улице, за воротами – руки в грязи, плащ в грязи, левый сапог в грязи доверху – значит, упал, у плаща вырван с мясом карман, на пиджаке – ни одной пуговицы. Силен Коржев, что уж тут и говорить. Он против Коржева – шибздик: у того, поди, пятьдесят шестой, а он всю жизнь больше сорок восьмого не нашивал.

– Водка есть? – мрачно сказал Гмыржев, входя в дом. Жена, обставившись кринками, открывала подпол – спустить только что надоенное молоко в холод. – Знаю, есть. Припрятала где-нибудь. Дай, мать? Не жмись.

Жена, раскрывшая было рот для расспросов, ничего не сказала, спустилась в подпол, прогремела там чем-то железным и через минуту появилась, держа в руке начатую на треть, заткнутую тряпичной пробкой бутылку. Гмыржев взял бутылку, прошел, как был – в грязном мокром плаще, грязных сапогах, – к столу, вытащил пробку, налил полстакана, снял кепку и выпил. Жена стояла наполовину в подполе, держась за крышку, смотрела. Гмыржев выдохнул воздух, постоял со стаканом в руке и страдальчески, до морщин, зажмурился.

– Что же это такое, мать? Что же это, а? – раскачиваясь, сказал он. – Ну почему? Почему это так, а?

– Да что с тобой, отец? – Жена вылезла из подпола, закрыла его и боязливо шагнула к Гмыржеву. – Нехорошее там чего случилось?

– Случилось, – пробормотал Гмыржев. – Видишь? – показал он вырванный карман плаща, и на глаза ему навернулись слезы. Вся его злость вышла там, в коржевской избе, когда схватился за табуретку, осталась одна боль, и теперь хотелось того только, чтобы водка скорее дошла куда надо, замутила голову – тогда сразу бы стало легче, а то до того ломило в груди от обиды, что неумоготу, неумоготу было...

– А может, ты... не так себя держал там, а? – неуверенно спросила жена. – Может, подождать, да снова?

Гмыржев стащил с ног сапоги, снял плащ, сунул все вместе в угол.

– Нечего, мать, нам с тобой ждать там, – сказал он. – Нечего...

Гмыржев передал жене разговор с Коржевным, она постояла молча – и вдруг усмехнулась, отвела за ухо вылезшую из-под косынки жидкую прядь начавших сесть волос.

– Что ж, ладно. Давай тогда письмо ему в часть напишем. Командиру. А?

– Зачем? – сказал Гмыржев, утирая вытекшую на щеку пьяную слезу – водка наконец дошла до головы, стала наполнять ее прозрачным тяжелым туманом. – Теперь закон не на бабьей стороне, это прежде вы тыкать могли – он, мол. А теперь что...

– А теперь то, что такие письма прощать можно? – Жена снова сунула руку под платье, прошуршала бумагой, вытащила обмусолившийся тетрадный лист. – Можно, а? Да он девку обнимал, лапал, а после... такое наворотить!

Гмыржев прошел в комнату, сел к столу, и они вместе с женой стали сочинять письмо. Они писали о том, как трудно им было растить детей, какие это трудные годы были, когда они поженились, – тысяча девятьсот пятидесятый, и совхоза тогда еще не было, а был колхоз, и на трудодень они получали – чтоб только в животе не бурчало, и так далее, и так далее... написалось уже пять страниц, когда дверь в сенях скрипнула, хлопнула, по кухне пробухали сапоги,

и на пороге комнаты появилась дочь. Она была в полиэтиленовой накидке-кульке поверх ватника, глаза у нее были мрачные и опухшие, и на тугих круглых щеках – засохшие дорожки от слез.

– Корова подоена? – спросила она.

– Подоена, – заторопился ответить Гмыржев, виновато пряча глаза. – Чего рано воротилась?

Дочь поглядела на них обоих хмурым, испуганным взглядом, поняла, что отец все уже знает, и всхлюпнула носом.

– Тоска у меня, – сказала она.

– Чего? – в голос спросили Гмыржев с женой.

– Я говорю, тоска у меня – ниче делать не могу, подменилась, – повторила дочь и заревела, ухватившись за косяк и катаясь по нему лбом.

– А ты думала, все один сахар да все сладко будет? – не глядя на дочь, сказала жена.

– А не терзай ты меня, не терзай! – закричала сквозь слезы дочь. – Не терзай, плохо мне!..

Она зашаркала в другую комнату и повалилась там на сундук. Жена, испуганно взглянув на Гмыржева, вскочила и выбежала вслед за ней.

Гмыржев один кое-как закончил письмо, заклеил его в конверт вместе с письмом Коржева-младшего, надписал адрес, доплелся до кровати, лег, не раздеваясь, и повернулся к стенке.

4

Через две недели, когда Гмыржев был в мастерской, менял со своим другом, Мишкой хромым, кардан у директорского «газика», его позвали в контору механика к телефону. Звонила жена – из оборудованного телефоном соседнего бригадирского дома.

– Ты чего там сидишь, скоро кончишь? – прокричала она.

Время было уже вечернее – «газик» притащили в мастерские после обеда, а директор просил к завтрашнему дню исправить, и Гмыржев с Мишкой хромым призадержались, – однако ничего такого страшного в этом не было, чтобы звонить, тем более что не просто ведь снять трубку да коммутатор вызвать, а из дому выходить надо, через дорогу бежать. Поэтому Гмыржев перепугался.

– Случилось чего, а? – закричал он.

– Да нет, отец, нет, чего ты! – ответила жена. – Генка Коржев приехал, вот я чего... – В трубке заскрипело, заклокотало, и она замолчала, пережидая. Потом заговорила снова: – С автобуса-то как сошел – так и к нам. А Нинка на ту пору как раз дома и будь. Перерыв у нее. А он, значит, прощенья просит, говорит, у товарищей ума подзанять решил, дурак был... Дак я вернулась, а они уже в сельсовет сгоняли, заявление подали, послезавтра регистрироваться будут. Сидим сейчас. А я боюсь – ну, встанет да домой, а дома его... Не знаю, что делать, вся извелась.

– Вот как! – проговорил Гмыржев. – Вот как!.. Ну, слава богу. Бегу. Прямо сейчас, ноги в руки.

Он выскочил из конторки, пнул автомобильную ось, валявшуюся в проходе, зашиб ногу и засмеялся.

– Мишка! – закричал он издали. Мишка хромой, кряжистый рыжий мужик с конопатым лицом, прозванный так за короткую ногу, неправильно сросшуюся после давнишнего еще перелома, сидел на корточках возле ямы и смолил «Беломор». – Слушай, тут чепуха осталась, может, один кончишь?

– Пожар, что ли? – Мишка хромой поднялся с корточек, бросил на пол окурок и загасил здоровой ногой. – Одному-то несподручно...

– Дочь замуж выходит, Мишка! – весело сказал Гмыржев. – Вот баба моя и позвонила. Сидят, говорит, с женихом... нужен я что-то.

Мишка хромой циркнул сквозь зубы:

– Ладно, иди, чего ж...

– Да ты не обессуди меня, Мишк! – попросил, уже собирая свой инструмент, Гмыржев. – Такое дело... – И вдруг его осенило: – Слышь! А может, кончишь, гармонь возьмешь – да придешь? Они там сидят... торжество вроде: заявление подали. Может, братовья жены придут – так я думаю, еще кто... А?

– Так что... – в раздумье вроде произнес Мишка хромой, но голубые его, в коротеньких белесых веках глаза заблестели, конопатое лицо так и зажглась радостью. Давно уж он не нужен был со своей музыкой селу – ни свадьбам, ни Ноябрьским, ни Майским, а поиграть любил, любил внимание, и то, что Гмыржев всегда звал его к себе с гармонью, ценил. – Так, пожалуй, приду, что не прийти. Тако событие...

Всю дорогу к дому Гмыржев почти бежал, но возле самого дома замедлил шаг, застегнул телогрейку, сунул руки в карманы и, не торопясь, считая каждую ступеньку, поднялся на крыльцо. В окно его видели, и дверь из сеней в избу была отворена, на пороге стояла жена в выходной кофте и переднике, с довольным, озабоченным взглядам. Дверь из кухни в комнаты тоже была раскрыта, Гмыржев увидел край стола, а за столом – лопоухого, коротко стриженного ефрейтора с пуговичными глазами, выжидательно лупившегося в сумерки кухни.

– Ну! – сказал он жене, засмеялся, подмигнул ей и помял за плечи. – Ты смотри... Может, и сладится все?

– Типун тебе, – замахала на него жена, испуганно оглядываясь на непритворенную дверь. – Какое – может? Должно. Вроде все нормально. Одного боюсь: как он домой пойдет, дак что там дома-то наплетут?

– Да... – пробормотал Гмыржев. – Выходит, нельзя его пускать домой?

– Ой, не знаю, ниче не знаю. – Жена опять оглянулась на дверь, посмотрела на Гмыржева, вздохнула. – Переоденься давай. Вон я вынесла.

Гмыржев снял с себя рабочую одежду и полез под рукомойник. Вода была холодная, знобящая, он пофыркивал от удовольствия.

– А чего нам, мать, бояться-то? – сказал он, плеща себе на лицо, крепко растирая его ладонями. – Ну, пусть пойдет домой, не удержим ведь. Ей-бо. Решил так решил – приехал вот, чего ему обратно пятиться?

– Боюсь! Боюсь!.. – Жена подала ему полотенце, замотала головой, закрыла лицо руками. Потом отняла руки. – Все ведь повар-то сделает... Сам же рассказывал, как он встретил тебя, что кричал. Как же! С тещей ему жить пришлось – по нашей милости, воспротивились ей. Прости господи, не говорят о покойниках плохо, но хитрая баба была. Вы идите туда, где и без того повернуться негде, а я в доме одна останусь. Может, мужика нового привести хотела...

– А ну-к, что мелешь! – крикнул Гмыржев. Он тиранул полотенцем шею и с размаху забросил его на веревку. – Чего мелешь, понимаешь? Мужика хотела! Хотела бы, так и к нему поехала.

Жена виновато заморгала:

– А что ж... что ж она тогда...

– А это уж я не знаю. Жалко, может, было, что дом свой продала. – Веселое, радостное настроение Гмыржева от упоминания о том, как встретились они с Коржевым-старшим, разом пропало. Что сейчас судить-рядить, почему вдруг коржевская теща решила оттягать себе чужой дом – дело давнее, пятнадцать лет отгрохало, а вот в чем права жена, так права: ненавидит их Коржев-старший. Ненавидит, ох, ненавидит – и чего угодно жди: на все пойдет, чтоб помешать. А коли парень такое письмо сочинить мог, пусть даже и товарищи помогли, то, может, и мешать-то особо не надо. Так, сказать только: а ты знаешь, что они с бабкой твоей

утворили? Знаешь? Да приперчить ту историю – долго ли? Вот и все, и конец, и что тут делаешь?

А он еще Мишку хромого пригласил, дурак. Что за язык потянуло? Дурак. Разомлел, показалось – удачу ухватил, Ухватил... Какие братовья жены, какое гулянье? Не до гулянья.

– Прости, мать, – пробормотал он. – За крик-то. Это я... ну, в общем... Правильно говоришь, нельзя парня домой отпускать – останется наша девка без мужа. С дитем. Вся жизнь наперекосяк. А не жила еще...

Он надел белую нейлоновую рубаху, заправил ее в брюки, надел пиджак, толкнул ноги в ботинки.

– На ночь я его оставляю, – тихо, будто про себя, сказала жена.

– Да ты что, мать? – Гмыржев как нагнулся зашнуровать ботинки, так и замер, подняв кверху налившееся кровью лицо. – На наших глазах?

– А как по-другому-то? Что другое придумаешь? Ты посиди с ним, поддержи, темнота подойдет – я и скажу: здесь вот, мол, с Нинкой ляжете...

– Да ты что, что ты, мать! – разогнулся, чувствуя, как отливает от лица кровь, Гмыржев. – Да как...

Жена вздохнула, пожевала губами, потом махнула рукой:

– А че теперь беречь? Сам думай: тяжелая она.

– Правильно, – пробормотал Гмыржев. – Правильно. Так. – Он нагнулся и зашнуровал ботинки. – А завтра?

– А завтра не сейчас. Давай за сейчас беспокоиться.

– Правильно, – снова пробормотал Гмыржев. – Правильно.

Он застегнул пуговицы на пиджаке, причесался и шагнул в комнату.

5

– Ну, здорово, Геннадий, здорово! – сказал он, вытягивая руку и идя к Коржеву-младшему. Тот, смущаясь, попытался встать с лавки, но стол был плотно придвинут к ней, и он не сумел разогнуть ноги, стоял на полусогнутых. Гмыржев взял его руку в свою, подумал – и обхватил за шею, похлопал по спине – по колючей шерсти солдатского кителя.

– Меня, понимаете... как вызвали... командир наш, хороший человек... я понял: что же, думаю, я делаю... – заговорил было, когда Гмыржев отпустил его, Коржен-младший, сбиваясь и боясь глядеть Гмыржеву в глаза.

– Будет! – чувствуя к себе отвращение за ту роль, которую надлежало взять на себя, оборвал ефрейтора Гмыржев, поднял руку с растопыренными пальцами и потряс в воздухе. – Кто старое помянет... глаз вон!

Дочь сидела на лавке рядом с женихом красная, счастливая, с мокрыми, расплепившимися губами, и было видно, что она уже баба – так по-бабы откровенно она была счастлива.

– Послезавтра, так, что ли? – спросил ее, стараясь улыбаться, Гмыржев.

– Послезавтра, – тотчас же, с готовностью отозвалась дочь. – Гену всего на шесть дней отпустили.

– Маловато, – сказал Гмыржев, перехватил взгляд жены, подававшей на стол чугунок с упревшей картошкой, и прочитал в нем: лучше бы на день – проще бы.

Прошло, может, минут сорок с того времени, как Гмыржев вернулся, когда в сенях застучали сапогами, дверь хлопнула, и на пороге комнаты появился Мишка хромым, с «беломориной» в углу рта и с расстегнутой гармонью на груди. Конопатое лицо его было торжественно-сосредоточенным, голубые глаза смотрели весело и тоже сосредоточенно. Стоя на пороге, он заиграл «Свадебный марш» Мендельсона.

Мишка выучил марш, чтоб приглашали в сельсовет вместо магнитофона играть его, но ничего из этого не вышло, и он не раз жаловался Гмыржеву на несправедливость судьбы. Тогда-то Гмыржев и говорил ему: «У меня сыграешь, Мишка, обязательно, слово даю, к чертям такие-сякие магнитофоны», – и вот Мишка играл...

Гмыржев обхватил голову руками, глядел в стол, видел крошки черного хлеба возле своей тарелки, и было ему до того нехорошо, что хоть ударяй кулаком по столу и кричи: «Хватит!» Да при чем Мишка-то... От чистой ведь души.

Марш внезапно оборвался. Гмыржев поднял голову – Мишка хромой глядел на него с обидой и недоумением.

– Что такое у вас, Петр Савельевич, позвольте спросить! – сказал он.

– Что? – не понял Гмыржев.

– Ну, ты вроде говорил, что торжество. – Мишка свел вместе мехи гармони – они шумно, с шорохом выдохнули воздух. – Жениха вижу, а торжество где?

– А у нас, дядь Миш, и есть торжество, – весело сказала дочь, прижимаясь плечом к жениху и счастливо взглядывая на него. – Не обязательно ж дым коромыслом ийти должен. Ага, Ген? – снова посмотрела она на жениха коровьим, счастливым взглядом.

Гмыржев стал выбираться из-за стола.

– Давай, Миш, подсаживайся...

И увидел, как, опережая его, поднялась жена, прошла мимо Мишки хромого и поманила того за собой пальцем. И пока Гмыржев лез вдоль стола по лавке, они вышли из комнаты и притворили дверь.

– Вот те фокусы! – сделал Гмыржев для жениха удивленное лицо, но и на самом деле он ничего не понимал.

– О! – крикнул жених. – Вернетесь, я вам со спичками такой фокус покажу – обалдение!

Гмыржев покивал ему на ходу – вроде как заинтересовался такими талантами – и выскочил вслед за женой и Мишкой хромым.

Жена стояла к нему спиной, что-то говорила, а Мишка хромой глянул поверх ее плеча на Гмыржева одурелыми, мигающими глазами.

– Что это, Петьк? Что это с твоей?

– Что? – спросил Гмыржев.

– Да говорит, не так ты понял по телефону, никакой гармони не надо.

– Да не надо бы, – сказал Гмыржев. – Так оно. Ну да теперь что... Снимай да проходи. Ты что это, мать, вытолкала его?

– Иди, Миша, – не оборачиваясь к Гмыржеву, твердо сказала жена. – Извини нас, но в общем... Иди, правду говорю.

– Да вы! – Мишка хромой, со сморщившимся от обиды лицом, блестя глазами, шагнул к жене Гмыржева. – Вы что тут!.. – Но ничего больше не смог выговорить, повернулся и вышиб дверь в сени ногой.

Гмыржев было рванулся за ним, но жена ухватила его за рукав.

– Стой! – шепотом закричала она ему на ухо. – Не беги за ним! Дураком тебя назвала, говорю: ничто мой балбес толком не поймет, а звону напустит...

Гмыржев оттолкнул жену.

– Да ты!.. – тоже шепотом закричал он. – Пошто?

– По то, что боюсь, – удерживая его за рукав, простонала жена. – Ой, боюсь! Ежели трезвонить он зачнет, а? Дойдет слух-то до повара...

В груди у Гмыржева будто что перевернулось: ах же ты господи!

На улице, в разливающейся темноте, всхлипнула Мишкина гармонь и заиграла что-то злое, отрывистое.

– Ага, – сказал Гмыржев, похлопал жену по руке, которой она держала его, и повторил: – Ага. Понял... Допер. – Он замолчал, отнял руку жены от своего рукава и снова похлопал по ней. – Пойди-ка туда, скажи что-нибудь... я тут побуду. Не побегу, не бойсь, не...

Он вышел в сени и сел там в темноте на нары.

Он просидел в сенях долго – полчаса, а может, и больше, куря сигарету за сигаретой, потом вернулся в дом и стал вести с будущим зятем необходимые беседы...

На ночь дочери с женихом застелили свою супружескую постель, потому как она одна в доме была широкая, сами – подумали-подумали – и легли в сенях.

Прохладно было в сенях, тянуло уличной октябрьской сыростью, – тело чувствовало ее даже сквозь принесенное из тепла одеяло. Тяжело, нехорошо было на душе у Гмыржева – своими руками мужика к дочери под бок положили, дыхание заходило от одной мысли об этом, но молчал, не заговаривал с женой ни о чем.

6

Утром Гмыржев проснулся от шепота над собой. Только еще начало светать, щели между досками еле обозначились.

– А как без них-то? – спрашивал шепотом голос дочери.

– Да уж как-нибудь, – отвечал шепотом голос жены.

– Да как-то это... как-то не по-настоящему, как же без них? – снова спрашивал голос дочери.

– Ну как, как! – терпеливо отвечал голос жены. – А ну как они не захотят, что тогда?

– Да а чего им не хотеть? Решил он и решил, ему жениться-то, не им.

– А и перерешит если?

– Да как-то это без них-то... – снова заводила дочь.

Гмыржев заворочался. С хрипом выдохнул воздух, спустил ноги с нар и стал нащаривать в рассветных полупотемках ботинки. Жена с дочерью, различил он, стояли возле двери в избу, дверь была приоткрыта.

– Ну-ну, – пробормотал Гмыржев, вти'сул ноги в ботинки и вышаркал на крыльцо.

Рассвет занимался серый и тусклый, небо было затянуто глухими мокрыми облаками. Накапывал дождь. Дверь в хлев стояла раскрытой – значит, жена уже подоила корову, задала корм, а может, и дочь – иначе отчего взялась в сенях, из теплой-то постели сбежала...

Когда Гмыржев вернулся в сени, дочери уже не было, а жена черным силуэтом стояла в сером дверном проеме, прислонившись к косяку, – ждала его.

– Отправила – пусть поспят, – сказала она громким шепотом, оглядываясь в глубину дома. – А то поднялась: дел-то, говорит, сколько, дел-то – завтра же, мол, полный дом гостей будет... Насилу отправила.

– Правильно, мать. – Гмыржев сел на нары, стащил, пошаркав ногой об ногу, ботинки и лег. – Все он подольше в дом не попадет к себе...

Тоскливо было на душе и пакостно. Когда ее на руках, голенькую, маленькую, сморщенную, легче, казалось, всякого пуха, носил да целовал, носом в кнопку ее носа тыкался: «У-уу ты, Нинька-синька!» – а она тебе улыбалась, глазки таращила, разве думал, что в такое вот... по уши влезешь. А ту, о которой сын писал, некому, видно, было защитить... и тоже, поди, маялась-то как...

– Ты чего это, отец, лег-то? – удивленно сказала жена и подошла к нарам. – В мастерские уж пора скоро.

– Не-не, так это я, встану сейчас, – буркнул Гмыржев.

Жена села на нары, сложив на коленях руки. Гмыржев услышал сухой шерстяной запах ее кофты и парного молока.

– Зачем велела дольше спать-то... Чтоб поздно встали, да я бы их сразу же в город и погнала, домой ему сбегать не дала: приданое, мол, Нинке покупать надо, когда еще отгул дадут, побежишь – сколь времени потеряете! А, отец? Нинке-то я уже сказала – лучше бы-де без его родителей, вдруг отговаривать будут!

– Слышал я. И что?

– Уговорилась вроде. Только, добавила, я о ваших хитростях ничего не знаю, ничего не слыхала...

– А может, пусть сбегает, мать. А? – Гмыржев сел на нарах и ударил себя по колену. – Грязно это все, мать... пусть сбегает. Как выйдет так и выйдет!

Жена не отвечала, он слышал ее громкое в утренней тишине дыхание.

– Нет, лучше б не допускать, – ответил он тогда сам себе и покачал в темноте головой. – А уж будет штамп... штамп, он связывает.

Когда Гмыржев вышел из дому, дождь уже прекратился, но воздух был влажен, от земли поднялся туман. Гмыржев шел по улице, оскальзываясь на лысых обочинах, и не видел домов другой стороны. Во дворах ватно звякали дужками ведра, где-то, тоже ватно, кололи дрова, по дороге прокатил, ватно пофыркивая мотором, «Беларусь» с ватно громыхающим прицепом.

Мишка хромым был уже в мастерских. Он сидел на лавочке возле будочки механика, смоллил «беломорину». Голубые его, в белесых коротких ресницах глаза смотрели на Гмыржева, пока тот шел к нему, угрюмо и тяжело.

– Здорово, Миш! – сказал Гмыржев, подходя.

– Здоров, – отводя от Гмыржева глаза, сказал Мишка хромым.

Гмыржев сел, достал свои сигареты, закурил, спрятал пачку в карман, не глядя на Мишку хромого, попросил:

– Не сердись. Слышь? Нехорошо мне, ой, плохо...

– Я того, конечно, не заслуживал. Как с пьяницей каким, – в голосе у Мишки хромого задребезжала обида, он умолк, вытащил папиросу изо рта, наклонился, смял ее о край каблука. – Перед селом – позор, перед женой осрамил. Прибег, не пил, не ел: «Петька Гмыржев, друг старинный, девку замуж отдает», – нате, Миша, оглоблей промеж глаз. Вернулся: «Я ж тебе говорила! Я ж тебе говорила! Дома дел полно, – на дармовщину попер! Козел конопатый, кому нужен, прошли твои деньки!» Эх...

– Прости, Миш, прости... Жена меня осудит, боится... да я скажу, ты поймешь. – Гмыржев посмотрел на Мишку хромого, затаился, сдохнул дым. – Девка у меня, понимаешь... с брюхом. Нагуляла. Ну, коли парня из армии отпустили... для этого дела, понимаешь? Вот я... ну, вместе – я, жена – боимся, выходит, чтобы мать-отец его не отговорили, если свидятся. Евдокия моя мыслит: вдруг кто скажет им, что сын-то в селе, а домой не идет... Прости, Миш. Не обижайся.

– Да я, Петька, что, – сказал Мишка хромым. Он циркнул слюной сквозь зубы, вздохнул, поднялся и, припадая на левую ногу, прошелся перед скамейкой. – Я что... Я не скажу. Да отец-то твоего жениха – человек видный: цельный день на виду, глаза в столовке всему селу мозолит. Кто-то ведь парня видел. Видели же? Вот и скажут. Так и так, мол. Тут уж он перепугается.

– Ну, ты прости... вот что главное. У меня и без того в груди – будто сквозняком продувает.

– Да я что, я же говорю...

День Гмыржеву показался с целую неделю.

Когда он вернулся домой, ни дочери, ни ефрейтора в избе не было – одна жена; сидела в комнате над сундуком, ворошила улежавшиеся, расплюснутые старые тулупы, телогрейки, шали, отрезы, душный запах нафталина стоял в воздухе. Гмыржев принюхался. К запаху нафталина примешивался другой – кислый шибящий запах браги.

– Брага? – не веря, спросил Гмыржев. – Брага ведь?

– Ну! – сказала жена. – Брага. Вон раздолжилась. – Она кивнула в угол: под лавкой, закрытая белой пластмассовой крышкой, стояла неполная на треть трехлитровая банка. – Отпросилась сегодня с работы-то. Сижу и думаю, как вечером-то, когда приедут, не пустить... И надумала. Не знаю, отец, может, осудишь – табачная брага-то.

Охнув, жена поднялась с коленей, прогнулась в пояснице, потерла ее ладонями.

– А все к одному, – махнул рукой Гмыржев. – Теперь все к одному. Теперь чем хуже, тем лучше. Пусть брага... Не приехали еще?

– Не. В пять пятьдесят семь автобус есть – может, этим... Я вон им восемь метров бязи нашла – на простыни. Одеяло шерстяное. Слышь! – заулыбалась она. – А утром они к столу вылезли, так ефрейтор-то сидит красный весь, глаза прячет, руки, куда деть, не знает. Прямо ниче парень мне показался, совсем даже ниче. Точно, что дружки письмо-то сочинили...

Гмыржев сел на край раскрытого сундука, обхватил голову руками.

– Ой, нехорошо, мать, нехорошо! Разве ж так женятся... А? А какой он «ниче», это я не знаю. Дружки! А своя голова чего?

– Да ладно, будет тебе. – Глаза у жены потускнели. – Иди-ка... – Она тронула его, чтобы он сошел с сундука, и стала складывать вынутые вещи обратно. – Самой мне хорошо, что ли? Не такого я девке нашей желала. Думала, в техникум поступит, выучится... А теперь куда?

Гмыржев не ответил. Вышел на крыльцо, закурил, спустился вниз. Пошел было к хлеву, но остановился. Нечего ему в хлеве было делать сейчас. Хотел заглянуть в сарай, повозиться там, но вспомнил, что ключ дома. Обходя натекшие в ямы лужи, прошел к калитке, открыл ее и вышел на улицу.

По улице, от автобусной остановки, впереди всей сошедшей с автобуса толпы шли дочь с ефрейтором. У дочери в руках была круглая, раздувшаяся, будто черный поросенок, сумка, ефрейтор тащил две огромные сетки – обе набитые до самого горла.

«На виду у всех!». – ужаснулся Гмыржев.

7

Утро дня свадьбы занялось розовое, румяное, с легким туманцем, с чистым высоким небом. Даже не верилось, что вчера еще вместо этой голубизны, яркости была мокрая грязная вата, еле цедившая сквозь себя солнечный свет, – прямо бабье лето, да и только. Но деревья уже все стояли голые, из размокшей земли пучками торчала заглубевшая мертвая трава, а поля за селом, полого убегающие к голубоватой щетине лесов, – пусты и черны. И все же хорошо было, радостно, торжественно.

Жених поднялся после ночи опухший, пуговичные глаза – стеклянные, было видно, что голова у него налита чугуном. Он еле протолкнул в себя рюмку белой, его всего передернуло, он икнул и, наверное, свалился бы с лавки, если бы невеста не поддержала его.

– Родненький мой, – сказала она, счастливо, с заботой проводя ладонью по его щекам. – Упился вчера... А отец, смотри, – ничего.

Жених посмотрел на Гмыржева мутным взглядом, посилился что-то сказать и не смог.

Гмыржев налил ему еще одну рюмку. Жених выпил ее, и через несколько минут ему стало легче, глаза пуговично заблестели, он повозил рукой по волосам, приглаживая их, и весело сказал:

– Дак хитер Петр Савельич, не пил вчера брагу-то. Все мне да мне, вот я и кувырнулся. Понятно? – ткнул он локтем в бок дочери и засмеялся. То ли он уже освоился в доме невесты, то ли перестал смущаться с похмелья. – А ведь сегодня свадьба у нас? – спросил он затем, ни к кому не обращаясь, но глядя на Гмыржева.

У Гмыржева вдруг похолодело под скулами – как тогда, две недели назад, когда узнал от жены о дочерином положении.

– Сегодня, – сказал он хрипло.

– Ну слава богу! – Жених обнял невесту за плечи, помял довольно. – А то я утром-то встал, и все меня мысль мучит, что я уже женился, а как женился – не помню.

– Впереди еще, впереди, – пробормотал Гмыржев и почувствовал, что внутри у него – все точь-в-точь, как тогда, две недели назад, – начало что-то мелко и противно дрожать.

Жена, громко хрумкавшая огурцом, тоже, видимо, испугалась: несла огурец ко рту – не донесла, положила его на тарелку, а пальцев не разжала.

– Велика ли беда была бы! – засмеялась она. Вроде бы укоризненно засмеялась, но Гмыржев понял: натужный смех. – Разве ж вам этот день запоминать надо? Он что! Так, проштампуют. Вы свадьбу гуляли, ни я, ни отец вот, – махнула она рукой на Гмыржева, – не знали. Вот она когда была у вас.

«Испортит, испортит ведь все», – со страхом, с ужасом, дрожа до мурашек на спине, подумал Гмыржев.

– Да! – вскинулся жених. – Мои-то отец-мать знают? Я вчера... не сходил?

– Куда сходил? – Жена сидела все так же, замерев с зажатым между пальцами огурцом на тарелке.

– Да куда-куда. Домой.

«Вот оно, вот оно, все», – сказал себе Гмыржев и выкрикнул вслух:

– Нет, Гена, не ходил. Мы виноваты – перепил ты, не уследили. Прости. А самим идти – ну, знаешь, как-то... А, вот что, – осенило его. – Вот что! Чего тебе, собственно, ходить?

– Как чего?

– Ну, ты решил?

– Чего решил?

– Жениться.

– Так решил... приехал раз. Я говорю: извинения за то письмо прошу...

– Ну и все, хватит, хватит, – торопливо сказал Гмыржев. – Хватит, чего ты... – Его несло, он видел это, но боялся остановиться: вроде как по скользкому тебя тащит – не пробуй затормозить, нос расквасишь, жди, когда на шероховатое вынесет. – Никто тебя боле и не заставляет ниче... Дело прошлое. Я о том: коль решил жениться, дак что тебе родители. Придешь – и объявишь: так и так, женился. Вот так по-мужски-то будет, по-солдатски. Уходил – парень, вернулся – мужик.

Жених смотрел на него, вытаращив пуговичные свои глаза и приоткрыв рот.

– Ха, – сказал он. – Ха!.. – но Гмыржев увидел, что ефрейтор поддался...

Однако дрожь эта, подкатившая к нему утром за столом, не унималась; и даже когда вошли в председательскую комнату, со столом, рядами стульев, с портретами Председателя Президиума и Секретаря Политбюро на стене, она все холодила ему нутро внизу живота.

Молоденькая помощница председателя, с городской прической и в туфлях на толстых каблуках, оформлявшая жениху и невесте документы в приемной, нажала на клавишу магнитофона, и под звуки «Свадебного марша» Мендельсона председатель встал из-за стола. Помощница снова нажала клавишу, та громко хрястнула, и музыка оборвалась.

– Дорогие жених и невеста! – начал председатель. – Дорогие родственники и друзья!..

Все внутри у Гмыржева так и дрожало, он обхватил себя за локти и посмотрел на дочь. Дочь стояла красная, с отъехавшей вниз от счастья челюстью, и крепко держала своего ефрейтора под локоть. «Неуж все? – сказал себе Гмыржев. – Неуж вышло? Ниче парень-то, ниче... действительно... дай бог!»

– Молодых прошу подойти к столу и скрепить подписями свой брачный союз, – донеслись до него слова председателя.

Дочь с ефрейтором, все так же под руку, двинулись к столу. Гмыржев посмотрел на жену – она стояла возле стены, тоже почему-то обхватив себя за локти, и вытягивала, чтобы лучше видеть, шею.

Дочь с женихом вернулись на свое место, к столу сходили и вернулись свидетели – две подружки дочери, тоже доярки с фермы, обе незамужние, с завидующими, обиженными глазами, и тут дверь за спиной взвизгнула петлями, ударилась, раскрывшись, ручкой о стену.

Гмыржев обернулся.

В дверном проеме, расставив ноги, уперев руки в косяки, стоял Коржев-старший. Он был в белой куртке, в пятнах от жирных пальцев на животе, в белом поварском колпаке, а из кармана куртки торчала ложка.

– Вот как! – сказал он из дверей. – Правду, выходит, мне сообщили вчера. А я-то думал, не может быть, как это так – сын, родной, приехал и домой носа не кажет. Вот как!.. Выходит, правду. Ты что же это, сын мой родной, на свадьбу-то на свою не позвал?

– Ой, Василий... прости, не помню, как по батюшке... – сахарно, не своим голосом заверещала жена и пошла к двери. – Василий Федотыч, так, поди? Василий Федотыч, родной... уж извини... так уж получилось, оно, знаете, дело молодое...

Коржев-старший, огромный, красный, с багровыми ручищами, упертыми в косяки, с ненавистью покосился на нее, и она остановилась на полдороге, замолкла.

– Ну что, сын мой родной, воды в рот набрал, что ли, не отвечаешь? – сказал Коржев-старший.

Гмыржев вспомнил о Коржеве-младшем, посмотрел на него, – ефрейтор стоял весь белый, дочь не держала его больше под руку – сама отпустила, он выпростался?

– Слушай, закрывай дверь! – закричал председатель. – Оттуда или отсюда – все равно, мне молодых поздравлять нужно.

– Что, успели уже обпечатать тебя? – крикнул Коржев-старший.

– Дак... а... – смог наконец раскрыть рот Коржев-младший.

– Ясно все! Успели, – сказал Коржев-старший, захлопнул дверь и прислонился к ней спиной. – Ладно, поздравляй, председагель. Что ж делать теперь. Я подожду.

8

Коржев-младший уезжал в часть через два дня – на день раньше срока. Был вечер, недавно кончился дождь, моросивший с обеда, тучи чуть-чуть растащило – пахло водой, сырой землей, с фермы тянуло навозным духом. Гмыржев возвращался домой из реммастерских, Коржев-младший шел по другой стороне улицы с тремя друзьями; один нес чемодан, обклеенный переводными картинками западных красоток, другой транзистор, а сам Коржев в обнимку с третьим орали не в лад с песней, гремевшей из транзистора, – подпевали.

Гмыржев, увидев зятя, почему-то забоялся, что тот заметит его, и отстал, пошел сзади.

– Не плачь, девчо-онка, пройдут дожди-и, – кричал транзистор и орали зять с дружкой. – Солда-ат верне-ется, ты только жди-и, – пел транзистор, а зять выкрикивал: – Ты, дура, жди-и!..

«По морде бы ему, собаке, по морде бы!» – дрожа, заходясь от слез и ненависти, думал Гмыржев, но не ускорял шага, как шел, так и продолжал идти, сунув руки в карманы телогрейки, раскорячивая ноги, чтобы не оскользнуться.

Но когда зять с дружкой стали подходить к его дому, Гмыржев не выдержал, побежал, чавкая сапогами, замахал рукой, закричал:

– Постой, эй! Ну, постой!

Зять с дружкой обернулись, зять что-то сказал тому, у которого был транзистор, и тот привернул звук.

– Погоди-ка! – крикнул Гмыржев, подходя. Взял зятя за рукав и повел в сторону. – Ты это зачем так?

– Как? – ковыряя носком солдатского сапога землю и отворачиваясь в сторону, сказал зять. – О чем это вы?

– О том! – вконец уже закипая, шепотом выговорил Гмыржев. – С девкой-то спал, всякие, поди, слова говорил, пошто – дурой-то? Пошто сбеги? Она ж с дитем твоим ходит!

– А может, не с моим? – глядя в сторону, сказал зять. – Вы фамилия хитрая...

– Да... ты! – Гмыржев схватил его за грудки, хотел тряхануть, но дружки зятя подскочили, завернули руки, оттащили от ефрейтора.

– Яблоко от яблони недалеко падает, – сказал зять, усмехаясь, все так же глядя в сторону, и Гмыржев явственно услышал интонацию Коржева-старшего. – То-то брагой меня потчевали, домой не пускали – боялись.

– А ну пустите-ка! – вырвался Гмыржев из рук зятевых дружков и снова взял его за рукав. – Зайди на прощанье, чего сбеги? Нинка-то ждет тебя, ждет...

– Пускай подождет, может, надумаю. – Зять посмотрел на Гмыржева и дернул плечом, высвобождаясь. – Мне еще полгода служить – авось надумаю. А не надумаю – девок кругом пропасть, я другую найду, не больно мне ваша любя. Я уж так, по совести хотел... ну да если вы бессовестные... А пойдемте-ка, мужики! – крикнул он дружкам.

Они пошли, и когда поравнялись с домом Гмыржева, вся их компания остановилась, и зять, составив руки – мизинец с большим пальцем, – сделал в сторону дома «нос».

Гмыржев открыл калитку и шмыгнул во двор. За воротами стояла дочь, смотрела на улицу в дырку от сучка и редела.

– Ну что, что выть, – растерянно сказал Гмыржев. – Что выть? Со штампом ты, алименты будет платить... радоваться надо.

– Да что мне алименты, что алименты, – задыхаясь, выговорила дочь и закричала, ухватившись за поперечину ворот, шатаясь: – Ой, сгубили вы мою жизнь, сгубили!..

– Ты что, ты что, – забормотал Гмыржев. – Да кто, ты что... Сама же...

– Вы, вы! – стукаясь головой о ворота, захлебываясь слезами, застонала дочь. – Вы там сволочились, а мне отлилось.

– Ты, ду-ра, жди! – грянул на улице хор.

– Вы-ы! Вы-ы!.. – стонала, просунув пальцы в дырку от сучка, дочь.

У Гмыржева внутри что-то хрустнуло, зеленые круги поплыли перед глазами, и он быстро пошел к дому. И вспоминалось в этот момент почему-то, как он ходит по избе с дочерью на руках – маленькой, голенькой, сморщенной – и тычется носом в ее улыбающееся личико: «У-ух ты, Нинька-синька!..»

Середина 1970-х гг Ноздряха

Ночью Ноздряхе приснился страшный сон. Ей снилось, будто ее выдают замуж, и она проснулась в крике и поту, а потом увидела, что от страха встала во сне на коленки.

– Вот дура, – сказала она сама себе, когда поняла, в чем дело, легла, угрелась под ватным одеялом и решила снова заснуть.

Но она еще и засыпать не стала, как опять ей привиделось, будто выдают ее замуж, и она спрыгнула на пол, погуляла по холодному полу босыми ногами, чтобы проснуться, а потом зажгла свет. В длинной бумазейной рубашке с пуговками от ворота до того самого места, что если не застегнешь, так уже виден стыд, она посмотрелась в трельяжное зеркало, стоявшее под выключателем, помолчала, а потом снова назвала себя дурой:

– Тебе, дура, может, в космос полететь?

Разбуженный ночным светом, шагами и голосом хозяйки, из кухни, шваркнув о косяк дверью, вылез заспанный Браслет, посмотрел на Ноздряху, толкнул ее тупой твердой головой в ногу, шмякнулся на бок, свернув свое большое толстое тело калачом, и закрыл глаза. Ноздряха присела над Браслетом на корточки, потрепала его за жирные складки на загривке и сказала:

– Мы уж лучше с тобой вдвоем. Как-нибудь. Угу?

Браслет нехотя разлепил один глаз, мутно посмотрел на Ноздряху, моргнул, смежил веки и фыркнул, задвигая носом.

Фырчание его означало, что умные люди ночью спят, а не шлындают по полу босиком, и он тоже, по своей многолетней собачьей привычке, приспособился спать ночами, поэтому лучше ему не мешать, если нет никакого срочного дела.

Срочного дела не было, однако Ноздряха пошла в сенцы, сунула ноги в калоши, натянула поверх рубашки старый солдатский бушлат, неведомо с каких пор висевший здесь на гвозде для таких ночных обстоятельств, и отворила дверь. Ночь пошла на убыль, высветлялось. где-то далеко, за речкой, голос испуганного часового из воинской части крикнул: «Стой, кто идет!»

– Это я, дура стоеросовая, – сказала Ноздряха себе под нос. – В космос мне б полететь еще...

Она облегчилась, доковыляла обратно до дома, и тут на короткое мгновение времени ей почудилось неумоготу идти в пустой темный дом, с одной равнодушно, как по долгу службы привязанной к ней собакой.

Предутренняя летняя тишина разливалась вокруг, и пребывание каждого живого существа на земле казалось в этой тишине исполненным высшего смысла.

– Замуж ей захотелось, – сказала Ноздряха о себе в третьем лице, хлопнула дверь, высвободилась из бушлата, вылезла из галош и сосредоточенно пошлепала в комнату к постели.

Прозвище Ноздряха Глаша Стволыгина получила от своей внешности. У нее был нос ноздрями вперед, отчего лицо имело выражение вызывающей нахрапистой глупости, и, глядясь в зеркало, Глаша называла себя дурой, а товарки по камвольной фабрике, на которой она работала, прозвали ее Ноздряхой. Когда в обеденный перерыв за шаткими пластмассовыми столиками фабричной столовой случалось ругать кого из начальства, Нюрка Самолеткина, белозубая крупастая баба с крашенными в блондинистый цвет волосами, заканчивала базар одним и тем же присловьем: «А вот Ноздряха возьмет да чихнет на них всех, от них одно сопливое место и останется». Глаша смеялась, потому что Нюрка была ее подруга и потому что она уже притерпелась к насмешкам над своей внешностью, а между тем внутри ей было печально. Ей давно уже было всегда печально.

Ей только исполнилось тридцать, а она уже похоронила трех мужей.

Первого мужа Глаша помнила плохо, – он был солдат, они по ночам виделись, в его самоволки; эти-то самоволки и стали причиной его преждевременного ухода из жизни. Однажды, возвращаясь от Глаши, он наскочил на патруль, побежал; подступала зима, гололедило, он поскользнулся, треснулся головой об лед – да и остался лежать. Врачи потом говорили ей, что это довольно редкий случай, должен был отделаться сотрясением мозга, но он, видимо, очень шибко бежал, и не твердый лед, а скорость убила его. Плача по своему первому мужу, Глаша думала, что это даже не скорость, а она виновата во всем, потому что просила приходить его почаще и не попадаться, так как тогда бы его посадили на гауптвахту и она не смогла бы видеть его слишком долго.

Она очень плакала по своему солдатику – его Герой звали, и волосики у него на голове были белые-белые и мягкие, как у ребеночка прямо, – но ей было всего восемнадцать лет с четырьмя месяцами, и спустя короткое время она снова стала ходить в «Стамбул», клуб строителей, где познакомилась со своим первым мужем, а потом, когда пришла весна, а за нею лето, – на танцверанду в парке, и там, тоже на танцах, познакомилась со своим вторым мужем – Васей. К ней тогда, когда она снова стала ходить на танцы, многие подбивали клинья, и она – дай только себе расслабиться – легко бы могла, как другие в ее ситуации, потерять свое недавнее девичье достоинство, но она ни с кем не позволяла себе иметь ничего такого, хотя и жила одна в пятистенном доме. Она и с Васей ничего себе не позволяла, это ему в ней и понравилось, а то, что у нее был муж, он простил, потому что ей надо же, конечно, было устраивать жизнь и знай она, что он так опрометчиво поскользнется, ни за что бы, понятно, не пошла за него.

Со вторым мужем Глаша прожила шесть лет, и первых два года было так хорошо, что она от спокойной да гладкой жизни начала наливаясь жиром, и пришлось закупать новые лифчики – четвертого размера, да и те жали. Потом анализы показали у нее неправильную беременность, опасную для ее жизни, в областном центре Глаше сделали операцию, оставив шрам по всему животу, через год у нее все повторилось, ей сделали еще один шрам, и она лишилась возможности рожать. Вася начал пить, а выпив, кричал на нее, что она нарочно так сделала, чтобы спать с любовниками сколько влезет, и бил ее, и Глаша утомилась от этого и похудела, но не знала, что делать. А Вася все пил да пил, и однажды к ней прислали нарочного с завода, на котором Вася работал слесарем, и сообщили, что муж ее с дружкой ошиблись банками и выпили вместо хорошего спирту плохого. Дружка его отходили, но Васин организм не преодолел действия яда, и через два дня мужа у Глаши опять не стало. И когда его не стало, Глаша забыла, как он кричал на нее и бил, и опять ей показалось, будто это она виновата, что так вышло, и сделалось ей на земле одиноко и пусто.

Глаша не помнила ни отца, ни матери, а также никого другого из своей фамилии, вырастила ее одинокая старуха Катя, добывавшая свой прожиточный минимум работой в исполкомовском плодовом саду. Катя была обезмужена войной и обездетена и, растя Глашу, учила ее, что главное женское дело в жизни – примоститься возле мужчины и сделаться ему необходимой, как челнок необходим швейной машинке. В школе учили другому, но Глаша не понимала, с кем и за что она должна бороться, и к шестнадцати годам, когда Катя умерла, успела проникнуться ее правдой.

И когда ей предложил пойти за него замуж сосед – отставной полковник с собакой и именными часами от Маршала Советского Союза Гречко, Глаша тут же согласилась. Молодому она не могла портить жизнь, так как не в состоянии была рожать детей, вот и выходило, что старый человек – это теперь как раз ее партия.

Полковник был болен, с уставшим сердцем и изнемогшей работать печенью, ему нельзя было есть жирное, жареное, мясное, а собака лопала столько, что можно, было прокормить на те деньги полк. Глаша бегала по магазинам и на колхозный рынок – покупала, варила, кормила, но фабрики не бросала – фабрика давала ей ежемесячно сто двадцать рублей, и терять такую

сумму было бы ей накладно. Раз в четыре месяца регулярно полковник отправлялся в госпиталь на профилактическое лечение, и Глаша по воскресеньям моталась на автобусе туда-сюда сто километров с набитыми авоськами.

Когда полковника похоронили и собравшиеся по такому случаю родственники, а также городская и военная общественность расселись за столом, чтобы справить поминки, Глаша ушла в свой пустовавший четыре года дом, села там на холодный железный лист под поддувалом печи, засунула голову себе между коленями и заплакала. Она потеряла свою правду жизни и теперь не знала, как ей жить дальше. Она хотела, чтобы кто-нибудь умный и все знающий взял ее за руку, повел и показал, что ей теперь делать, как быть, но никого такого не было.

Стояла зима, в нетопленном доме было как на улице, и Глаша скоро застыла. От этого слезы у нее вымерзли, и она поднялась, нашла в сених заготовленные четыре года назад на растопку сухие дрова, вспомнила, поднатужившись, где лежат спички, и вздула огонь. Отвыкшая от предназначенной ей работы, печь задымила из всех щелей. Глаша легла на пол, возле огня, спасаясь от дыма, и тут и заснула и проснулась оттого, что ее дергали за уши и лупили по щекам.

– Чего... Это чего?.. – забормотала Глаша, выставляя руку перед лицом и жмурясь от электрического света, заполнявшего кухню. – Это как?.. – Узнала Нюрку Самолеткину, рванулась и закричала: – Че, сдурела?!

– Фу, проклятушая! – Нюрка отпустила Глашу, зубы у нее вылезли из-за губ, и она захохотала: – Спала, что ли? А я думала – угорела.

Глаша огляделась и увидела, что дым весь вытянуло, а дрова обратились в угли, не награв стен.

– Сморило меня чего-то, – сказала она, трудно поднимаясь с пола и ощупывая будто обваренные уши. – Скажи, Нюра, отчего мне судьбы нет?

– Судьба у тебя есть, – сказала Нюрка, возвращаясь из сеней и громыхая дрова из охапки на железный лист под поддувалом. – Ты ее только неправильно понимаешь и взять не можешь.

Она устроила в печи огонь, и разбуженные Глашей дымоходы, заревев от удовольствия, потянули в себя пламя.

– Теперь я, Нюра, снова буду тут жить, – сказала Глаша. – Ты ко мне почаще заходи, я теперь одиноко жить буду.

– Дура и есть, – отрезюмировала Нюрка. – Молодая ты еще, солдатиков-то вокруг сколько – да у тебя простыни простывать не будут.

Но Глаша переселилась в свой дом и стала жить одиноко, потому что теперь она боялась мужчин, и, видимо, страх наложил на нее тайную мету – мужчины тоже обходили ее своим вниманием.

Дом полковника Глаша как законная вдова получила в наследство, продала его, а деньги положила на книжку, которую завела еще с первой полочки на камвольной фабрике и на которой, до того как она поместила на нее деньги, вырученные за дом, скопилось восемьсот пятьдесят два рубля и тридцать одна копейка. Полковничью собаку Нюрка Самолеткина советовала Глаше сдать на 'живодерню, но Глаша никуда ее не сдала и гуляла с нею по вечерам, хотя собаке это и не нужно было, так как она давно уже превратилась в дворовую и бывала на свежем воздухе больше, чем в помещении. Прогулки эти нужны были Глаше – чтобы не все время сидеть дома да смотреть телевизор.

Город, в котором жила Глаша, имел пятнадцать тысяч населения, двадцать три улицы, один консервный и один механический заводы, камвольную фабрику, Дом культуры строителей «Стамбул» и Дом офицеров. Освещение работало на одной центральной улице, а выходя за ее пределы, почему-то теряло свою жизнестойкость и днем, под лучами солнца, поблескивало остатками стекла от разбитых лампочек. В добрые снегопады улицы, застроенные частными

домами, заваливало по макушку изгородей, и, выходя на работу, каждый прихватывал лопату, чтобы расчищать себе путь.

Время шло, и Глаша понемногу оттаяла, и раза два даже разрешила Нюрке Самолеткиной привести к ней в дом на предмет знакомства товарищей ее хахалей, пила вино, смеялась и танцевала, но, когда дело доходило до большего, скучнела и обнаруживала, что ничего ей не надо. Какой-то стебель, по которому поступала в ее тело жизнь, засох, и она жила без интереса к ней, как прошлогодняя трава к весеннему теплу. Но трава перепревает под солнцем и сгнивает, давая земле удобрение, а она была живой человек и ей надо было чем-то жить.

– Че же делать-то, Нюрка?! – стонала Глаша, когда ухажер ее обозленно сдергивал с вешалки пальто и уходил шлепать в темноте по грязи. – Это ж за что мне судьбы нет?

И всякий раз Нюрка говорила ей с убежденностью и усердием спасающего заблудшую душу пастыря: – Судьба у тебя есть, только ты ее неправильно понимаешь.

На Первое мая в клубе фабрики, как это водилось, состоялось торжественное заседание, концерт солдат из ближайшей, за речкой части, а после – танцы под их оркестр с трубой и барабаном. Глаша наметила после концерта идти домой, вышла уже на улицу, но оркестр играл так громко и хорошо, что ноги у нее стали будто колоды – не сойти с места, стояла в простенке между окнами, слушала и редела. Тут ее и увидел председатель профкома, Валька Белобоков, давно когда-то, много уж лет назад, сидевший с ней за одной партией, теперь здоровый мужик с шишковатым толстым лицом, высокий и широкий, как пресс с соседнего механического завода. Он уже выпил в буфете и шел во двор опростать, видимо, организм от ненужной жидкости, веселый и довольный, булькая себе под нос ту мелодию, что играл оркестр.

– Ах ты! – закричал он, увидев Ноздрюху, шлепая себя рукой по большой звонкой ляжке. – Вот ты где! Давно я с тобой на эту тему поговорить хочу. Люди, понимаешь, коммунизм строят, к светлой жизни идут, а она все нюни распускает. Что-то ты как-то не так живешь!

Сам он знал, как надо жить, и жил с толком: имел жену и двух детей, трехкомнатную квартиру, цветной телевизор, ковер на стену и ковер на пол, а также «Запорожец» первого выпуска, который, чтобы он не изнашивался раньше времени, держал в гараже, а по воскресеньям выводил на волю, чистил, смазывал и ставил обратно.

– Кто б мне посоветовал, как надо, – сказала Глаша, отворачиваясь, вытирая слезы и хлюпая носом. – А то мне больно охота как-то не так-то жить.

Председатель почесал громадной своей пятерней в волосах, образовав в них пробор, и задумался, двигая из стороны в сторону челюстью, глядя мимо Глаши.

– Двигай-ка ты на БАМ, – сказал он наконец, вздохнул и посмотрел на Глашу. – Или в Москву. Тебе в бучу надо, в кипень, бурлило вокруг чтоб. А у нас что, разве ж у нас... э! Завод у нас, в хвосте плетемся... Двигай в Москву! – Он взял Глашу за плечо и так сдавил его, что она аж взвизгнула от боли. – Вот я тебе говорю – в бучу, в кипень, прими совет.

Он ушел по двору в нужную ему сторону, и весь разговор между ними на этом кончился, но Глаша удержала его в памяти и теперь, какая б минута ни выпадала, оказываясь вдвоем с Нюркой Самолеткиной, спрашивала у той:

– Так че же мне, ехать, как мыслишь?

– А поезжай, потолкись, почешись о людей-то, – отвечала Нюрка. – Чего и вычешешь, дело такое...

К осени Глаша дала Нюрке свести Браслета на живодерню, поревела с пустым ошейником в руках, сходила на могилки мужей, заколотила дом и поехала в Москву наниматься на стройку, чтобы начинать новую жизнь.

* * *

В Москве Ноздрюха согласно совету председателя профкома хотела устроиться на какую-нибудь большую стройку, но угодила в СУ, строившее обычные жилые дома. Работала она первую пору ученицей, получала мало, прижималась, чтобы не залезть в книжку, и жалела уже, что не осилила себя супротивиться искушению. Но она была рабочая женщина, и руки у нее были ловкие до всякого дела, через два месяца она сдала экзамены в комнате планового отдела управления, ей присвоили разряд, и она стала отделочницей. Общежитие, в котором ее поселили, было громадным белым домом с девять этажей и шесть подъездов, с четырьмя квартирами на лестничной клетке, каждая квартира отдельно запиралась, Ноздрюха жила в двухкомнатной – всего впятером: трое в четырнадцатиметровой, двое в десяти. Ноздрюхина кровать стояла далеко от окна, у внутренней перегородки, и с кровати, если дверь в комнату открыть, она видела прихожую с зеркалом на одной стене и вешалкой на другой. Соседки у Ноздрюхи были все молодые девки, никому двадцати, одна только городская, из такого города Ирбит на Урале, остальные деревенские, да они уже жили в Москве до Ноздрюхи и год, и два и приоделись – поди разбери откуда, Ноздрюха у себя в городе и не видела, чтоб так одевались.

Она выходила против них совсем старухой, и они, в особые минуты своего любопытства, все пытали ее:

– Слышь, Глафир, а тебя-то чего понесло? Мужика, что ли, бросила, убежала подальше?

Ноздрюха не отвечала, чего б они поняли? Она оглядывалась по сторонам вокруг себя, пытаясь понять жизнь, которой приехала учиться, и душа у нее не просилась наружу, а хотела насытиться окружающей, незнакомой ей правдой и отяжелеть ею.

– Да подите вы, вот пристали-то как банный лист, – разрешала она себе ответить соседкам, когда те уж шибко донимали ее. Усмехалась при этом, и лицо ее от ухмылки принимало выражение законченной, тупой глупости.

– Глафир, а ты признайся честно, мы тебя не выдадим, – с серьезным видом, собирая морщины над мясистым переносом круглого конопатого лица, говорила Маша Оплеткина, крепкая, твердая, как кус замороженного мяса, девка, на спор она выжимала на стройке ведро с краской семь раз, – честно признайся: может, ты от алиментов бегаешь?

Разговоры эти случались в воскресные ленивые дни, когда все оказывались вдруг дома и без дел, сбивались чистить картошку, нажаривали ее на постном масле три полные сковороды и долго, сначала жадно, изголодавшись за приготовлением, потом медленно, ковыряясь, ели ее, устроившись на кухне за общим столом, запивали молоком и кефиром из пакетов, наедались и, наевшись, брались пощелкать в домино, покидать карты или порезаться в «морской бой».

– А, Ноздрюха? Точно, что от детишек?! – толкала Ноздрюху в бок, подхватывала шутку бывшей своей односельчанки тощая Надька Безроднова. Ноздрюха как-то рассказала, как ее прозывали на родине, и Надька, когда злилась, всегда теперь называла ее Ноздрюхой. А злилась она без передыху, по природной своей склонности, оттого даже, что светило солнце, а по телевизору вчера в красном уголке обещали снег. – И не совестно, а? – обидным голосом кричала Надька. – Ты ж баба, Ноздрюха!

От поминания детишек, которых судьба навек заказала иметь ей, у Ноздрюхи в носоглотке шебаршило, будто она, вытряхивая из куля цемент или алебастр,дохнула его облаком; она укрепляла себя, крупно дыша, косясь в сторону большим жадным ртом, чаще не удерживалась, вставала, сбив легковесную пластмассовую табуретку на пол, бежала к себе в комнату и валилась там на кровать, вниз изуродованным своим животом в синей перетяжке шрамов, невидимых под одеждой.

– Можете вы наконец отстать от человека, что привязались? – кричала, выбегая из другой комнаты, никогда не садившаяся после картошки играть со всеми, а уходившая к своей кро-

вати бормотать всякие непонятные, из чужой жизни слова или читать разные толстые книги, которые таскала откуда-то целыми связками, Полина Светловцева. Это она была городская, поступала нынче в театральный институт, провалилась и теперь, чтоб не уезжать из Москвы и прокормиться год, работала на стройке подсобницей. – Самих чего принесло, небось не сиделось на месте-то?

Надька отмалчивалась, Маша бормотала что-то кающееся и вслед за Полиной шла к Ноздрюхе.

– Ну ты это... Глафир! – говорила она, топчась у нее в ногах, у спинки кровати. – Ну опять я... характер у меня такой, я не в злобе, слышь!

– Так а я ничего... ничего я, нет, – отвечала Ноздрюха, поворачиваясь, улыбаясь своей глупой улыбкой, отирая слезы рукой. – Поль, а ты чего? Какой шум-гам из-за меня. Я сейчас чай сооружу, пить будешь?

– Давай, – отвечала Полина.

Они обе были чаевницы, и Ноздрюха любила пить с нею чай. Полина пила чай крепкий, как деготь, и, когда пила, рассказывала Ноздрюхе о книгах, которые сейчас читала, о разных писателях и о разных актерах, умерших и еще продолжающих жить, из многих книг она знала наизусть и к случаю проявляла перед Ноздрюхой свою память.

– Вот он как пишет, вот какая музыка – послушай, все мировоззрение его той поры в этом стихотворении, вот послушай, с какой силой он это все выразил, – говорила она и начинала: – «Ночь. Улица. Фонарь. Аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так, исхода нет. Умрешь – начнешь опять сначала. И повторится все, как встарь: ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица, фонарь». Чувствуешь?

– Умрешь, так оно как повторится-то? – с недоумением спрашивала Ноздрюха.

– Это поэтический прием, это средство усиления, сильнейшего, причем, усиления, откуда и мощь этого стихотворения, – отвечала Полина. – Та безысходность, которую оно рождает.

– Рябь, мол, канала, да?.. – тянула Ноздрюха. – Да нет, это неправда, ниче не повторяется, – отвечала она потом самой себе. – Ушло – и все, кануло – и нет. Я уж знаю.

Полина улыбалась, хлебая свой деготь, – она никогда не перечила Ноздрюхе, а только улыбалась вот так, уклоняя глаза к столу. Она была красивая девка, все при ней – будто по лекалу сделанная, и Ноздрюха то и дело пыталась ее:

– Вот ладно, вот поступишь в свой театральный, отучишься, а ну-ка муж-то не захочет, чтобы ты на сцене-то дрыгалась?

– Как так не захочет? – смеялась Полина. – Я такого найду, чтоб хотел.

– Это кому же захочется-то? – не понимала Ноздрюха. – У них, говорят, у актрис, певичек там всяких, одни любовники, потому как мужьям с ними никакого терпежу нет.

– Да ладно тебе, – еле переводя дух, смеялась Полина. – Серьезно, что ли? Да брось!

– Нет, а вот в самом-то деле? – не унималась Ноздрюха. – Так что же, и будешь одна, а смысл-то какой? – Да почему одна-то? – отсмеявшись, вытирала слезы Полина. – Найду кого-нибудь. А и одна если. Работать буду, играть – вот и смысл:

– Ага, ага... – говорила Ноздрюха. – Вот как...

Ей нравились люди, которые умеют работать, потому что сама она если бралась за что, то делала так, чтобы сердце не болело бы потом совестью. Из-за этого-то у нее и случались на дню по пять раз стычки с бригадиршей, ее, Ноздрюхиных, лет бабой, тоже деревенской в прошлом, но уже чуть ли не полжизни прожившей в Москве, обывкшейся в ней и глядевшей оттого на Ноздрюху как на недоделанную.

– Ты что, ты что, ополоумела? – кричала бригадирша, видя, как Ноздрюха заделывает раствором стык между блоками. – Куда толкаешь-то столь, возишься час цельный – дачу, что ль, себе строишь? Промажь сверху, чтоб обои легли, и хорош.

– Так ведь холодом же тянуть будет людям-то, – объясняла Ноздрюха.

– Ты за людей не беспокойся, ты о бригаде подумай, что она с твоей возней заработает! – отвечала ей бригадирша, выхватывала у Ноздрюхи мастерок и быстро, быстро, ловко и красиво шлепала на стык раствором, скребла мастерком, размазывая, растирала, подправляла пальцем. – Во, гляди! Красота! Ну-кась, давай погляжу, как сделаешь. Не дури только!

Ноздрюха, мучаясь, делала у нее на глазах, как было велено, бригадирша уходила – и она начинала работать по-прежнему, а когда, сбегав в магазин за свежим кефиром и батонами, садилась в бытовке за столом пообедать, жаловалась Маше, с которой кроме того, что вместе жила, была и в одной бригаде:

– Нешто можно так, ты сама посуды?

Маша, одетая для стройки в толстый и прочный, как кирза, серый хлопчатый костюм с мордой волка на упругой попе: «Ну, погоди!», с хрустом вода из стороны в сторону челюстями, будто жерновами, отвечала:.

– А оно, Глаш, и так дуть будет. Рамы-то какие – держат они тепло, что ли? Котельня хорошо натопит, так и не замерзнут. Сама, что ли, не в таком же доме живешь?

Была в ее словах правда, и Ноздрюха не находилась, как ответить наперекор, но, когда, наевшись, вновь шли к своей башне, вокруг которой уже урчали железными утробами, лязгали гусеницами, отгребая от нее подальше разный ненужный строительный хлам, бульдозеры, готовя ее к сдаче, и вновь принималась за работу, она опять делала по-своему и заталкивала под плитуса раза в три больше шпаклевки, чем другие.

– Так сверху-то если только, – объяснялась она опять с бригадиршей, – так это ведь для блезиру только, толкни – и ускочит вглубь. Станут мыть, вода затечет – и вспучит паркет.

– У-у, деревня необразованная!.. – злилась бригадирша. – Вспучит ей!

– Я и не из деревни вовсе, – обижалась Ноздрюха.

– А еще хуже. Из деревни-то, те понятливее.

Ноздрюха была бы и рада выучиться работать как все, но тогда работа не приносила бы ей удовольствия, а без удовольствия от работы ей было бы нехорошо на душе. Когда вечером, в темени уже, по зимней-то поре, выходила, переодевшись, из вагончика бытовки, бежала по визжащим мосткам, оскальзываясь и оступаясь на застывшем шишками льду, к сигналившему автобусу, который должен был увезти к общежитию, стоя уже у распахнутой створчатой двери, она окидывала взглядом неловко вздыбившуюся к небу неуклюжую. коробку отделяваемой башни, и в груди шероховато ворочался теплый, сладкий ком.

Так вот и шли дни ее новой жизни, опять похожие друг на друга, как схожа ткань с разных станков, но из одинаковых ниток. Ноздрюха клала в себя чужую новую мудрость и, хотя не понимала ее, она надеялась, что, отягчившись, душа, как пораненное место, нарвавшее гноем, очистится от своей боли и выздоровеет. Она прожила в Москве пять месяцев, а ей казалось, что она давно уже так живет, много лет, сызмальства.

* * *

Была суббота, и Маша с Надькой и Дусей Петрищевой, пятой соседкой, из одной с Ноздрюхой комнаты, собирались в магазины на Калинина. Бегать по магазинам, если б не работали, могли бы они каждый день с утра до ночи.

– Глафир, пойдем! – уговаривала Ноздрюху присоединиться к ним Маша. Расшарашив ноги в черных, туго по икре, жеваной кожи сапогах, она стояла в коридоре перед зеркалом и драила себе ресницы из круглого белого футлярика черной щеткой, Ноздрюха лежала на своей кровати, дверь в комнату была открыта, подперта стулом, и они как раз друг друга видели. – Чего ты здесь киснуть будешь, день-то какой, ты глянь, солнце – ровно масляное, воздухом подышишь.

– Какой воздух в магазинах-то, – отнекивалась Ноздрюха.

– Так а к ним-то что, под землей идти будешь? – прижимала Маша.

– А вот как раз под землей, в метре-то, – отвечала Ноздрюха. – Да там че, в магазинах-то, че каждую-то неделю бегать?

– Не понимает ни фиги Ноздрюха московскую жизнь, – громыхая сапогами, как солдат, вышла в прихожую из соседней комнаты уже и в пальто, и в шапке Надька. – Пускай лежит, сетку давит, раз не понимает. Сетка не своя, казенная.

Ноздрюха не ответила Надьке. Чего ей, на ее злобу, можно было ответить – тоже злобой, а зла в Ноздрюхе ни на кого никакого не было.

– А и то, пойдем, может? – тихо спросила Ноздрюху Дуся. Она тут же, рядом с Ноздрюхой, возле своей кровати, тихохонько собиралась и одевалась – Ноздрюха ее и не слышала. Дуся была такой неприметной, маленькой, белоголовенькой, тоненькой, такой малословной и неслышной в движениях, что не гляди на нее – и забудешь, что она рядом.

– Да не, Дусь, – благодарно за ее заботу повернула к ней Ноздрюха голову. – Чего мне по магазинам... Не. Старуха уж я... Спасибо.

– Да и верно, что старуха, – услышала ее из коридора Надька. – Давишь все утро кровать задницей.

– Ой, да утихомирься ты, укороту на твой язык нет! – закричала из своей комнаты Полина. – Вот кому-то достанешься, хлебанет с тобой!

– А с ними, нонешними, так только и можно, – даже довольная Полининым приговором, засмеялась Надька. – Он у меня по одной половице ходить будет, сапоги мне мыть станет.

Они ушли, визжа о сухой пол каблуками, захлопнулась дверь, и Ноздрюха позвала Полину:

– Поль, слышь?! Чай сооружу, будешь?

– Давай, – согласилась, как обычно, Полина.

Ноздрюха встала с кровати, поправила ее, обулась и мимо Полининой комнаты пошла на кухню. Полина тоже лежала на кровати, грызла то ли сухарь, то ли печенье и читала.

– Слышь! – сказала Ноздрюха, останавливаясь у двери. – Че вот ей, Надьке-то, что я лежу, сетку давлю? Хочу – и лежу, может, чтоб им не мешать, под ногами у них не' путаться. Откуда в ней злобы-то столько?

– От верблюда, – сказала Полина, бросив книгу под подушку, и села на кровати, спустив на пол ноги. – Вопросыки у тебя. Ты меня чего полегче спроси.

Она пошла на кухню вместе с Ноздрюхой, помогла ей собрать на стол, и они сели напротив друг друга у окна, глядя сверху на засыпанную снегом землю, тесно уставленную по ровному чистому полю узкими, плоскогрудыми, будто чахоточными, панельными и блочными домами.

– Может, она оттого злобится, что я компанию не поддерживаю? – сказала Ноздрюха. – Так была уж я в ихних магазинах, ходила, толкалась, боле неинтересно. – Чего в них ехать-то... Куда б еще, другое дело.

Полина налила себе дегтю, а Ноздрюхе светленького, какой та любила.

– Да не переживай ты, – сказала она. – Подумаешь...

– Куда б еще, другое дело... – повторила Ноздрюха, беря кусок пиленого рафинада из белой картонной коробки и откусывая от него хрумкнувший уголок. – Скучно, конечно, сычхой-то цельну субботу-воскресенье сидеть...

– Ой, слушай! А хочешь, я тебя в наш театральный коллектив сведу? – блестя глазами, спросила Полина. – А? Вот интересно, нет, ей-богу, вот будет здорово!

Ноздрюха засмеялась.

– Чего мне там? Я этим вещам не обучена – дрыгаться-то. Встану все равно как бревно на сцене-то на твоей.

Полина ответно засмеялась Ноздрюхе, но глаза у нее, будто по форме луковицы вырезанные и так же лаково-коричнево золотившиеся, заблестели еще больше, как смазанные яйцом.

– А я тебя заставляю разве на сцену лезть? Сядешь, Глаш, да смотреть будешь. Познакомлю тебя со всеми. Там, думаешь, что, там не профессионалы же – после работы ходят, старше тебя есть. Это я, Глаш, бегаю... там руководитель – актер из театра, помочь потом обещал. Поедем давай. Давай. Сейчас вот прямо соберемся и поедем. Нынче как раз на день назначено.

– Да не, ну чего ты... – отбивалась Ноздрюха, но у самой уже засвербило внутри, тянуло уже вслед за Полиной: ровно предложили ей искупаться в летний день, теплая здесь, мол, вода и чистая, не умеет плавать – а лезет...

– Давай, давай, – подтолкнула Полина Ноздрюху к краю. – Чего бояться...

В Дом культуры, при котором состояла Полинина студия, надо было ехать сначала на метро, потом на автобусе, а потом еще идти минут десять пешком. Дом культуры был большой, трехэтажный, с колоннами у входа, они с Полиной разделись в гардеробе, поднялись по широкой лестнице на второй этаж и пошли по широкому коридору с зажженными квадратными лампами люминесцентного освещения под потолком. По обе стороны коридора тянулись двери с табличками. «Хоровая капелла», читала Ноздрюха, «Шахматный клуб», «Изостудия»...

– Пришли, – сказала Полина у двери с надписью «Драматическая студия» и с маху открыла ее.

Ноздрюха не очень помнила, как там потом все происходило, когда Полина втащила ее за собой.

– Гости съезжались на дачу! – сказал кто-то густым баритоном, высоко поднимая голос и далеко друг от друга расставляя слова.

– И привозили с собой те-етушек... – выпел вслед ему другой голос, помоложе и потощее.

– Это моя приятельница, Глаша, познакомьтесь, пожалуйста, – говорила Полина. Ноздрюха брала чьи-то руки во вспотевшую свою ладонь, силилась улыбаться, вроде даже говорила что-то...

Очнулась она уже в углу, на стуле за большим, красным, как флаг, роялем и точно помнила только то, что, когда шла к нему, запуталась в собственных ногах, споткнулась и чуть не грохнулась на пол.

«Зачем пошла. Вот дура-то, а, – ненавистно шептала себе под нос Ноздрюха, ссутуливаясь за роялем, чтобы никто ее особо не замечал, будто ее и нет здесь. – Совсем сдурела, дура стоеросовая, че приперлась-то... как теперь и уйти – через всю комнату-то, глядеть же все будут...

Комната имела в себе метров шестьдесят, а может и больше, в четыре высоких окна о три створки, и в ней ходили, стояли, сидели на стульях у окон, разговаривали и молчали человек пятнадцать-двадцать, парни и девушки, как Полина, мужики и бабы, как Ноздрюха, и все они, видела Ноздрюха, довольны, что они здесь, собрались все вместе, для дела, которое любят, и всего другого, что помимо его, но, возможно благодаря этому связавшему их делу, она же пришла из одного любопытства, и все, чем они владели, для нее было закрыто, не было ей в этой комнате места – здесь даже, за роялем. И Полине, которая так тащила ее сюда чуть не волоком, она тоже не нужна была здесь, Полина привела ее – и оставила, балаболила на другом конце комнаты, крутясь на каблуках, оттопырив вверх носки сапог, с высоким, как кран, уса-тым черным мужиком в белом тонком свитере-водолазке, висла, подгибая колени и взвизгивая, на его толстой, как бревно, руке, которую он сгибал в локте и поднимал перпендикулярно полу.

Дверь растворилась, и скорым шагом, будто нога у него выбрасывалась вперед пружиной, вошел широкомордый краснощекий мужчина с розовой плешью на темени.

– Здравствуйте все! – с веселостью в голосе на ходу громко объявил он, пересек комнату, бросил на стул у окна прыгавший у него в руке плоский, навряде коробки из-под сапог,

только поплотнее все-таки, и черный чемоданчик-дипломат и стал здороваться за руку, с кем оказался рядом, и опять повторял: «Здравствуйте все! Здравствуйте все!» Потом, стоя у стула, потрагивая ручку на чемоданчике, минуты две или три он о чем-то еще говорил с этими близстоящими, довольно и весело, во все свое широкое лицо улыбаясь, и вдруг закричал, оглядываясь: – Выгородка где, не вижу! Радкевич, Светловцева, Маракулин, вашу сцену проходить будем – почему не подготовили?

Мужик в белой водолазке, на громадной руке которого качалась Полина, и еще один бросились таскать на середину комнаты стулья и странно, то по два, то по три, один боком, другой вверх ножками, их расставлять. А Полина, оставшись одна, сделала левую ногу за правую, взялась пальцами за швы у брюк, растащила их в стороны, сколько хватило ширины, и присела, Ноздрюха видела – так по телевизору делали, когда барышень играли в дореволюционную пору, книксен это называлось.

– Не кричи так, нянечка. Не сердись на меня сегодня, – сказала она.

Толсторожий захохотал, подхватил свой чемоданчик со стула, поставил его подле ножек, сел, забросил ногу на ногу и помахал правой рукой с угрожающим указательным пальцем:

– Не из той сцены, голубушка! Не в образе живете. Выступление не в вашу пользу.

Это тот самый, видимо, был актер из театра, руководитель. Ноздрюха залезла поглубже за рояль, чтобы он ее не увидел, и смирила себя с мыслью, что теперь ей не скоро уже выбраться отсюда.

– Маракулин – вы! Радкевич – смотрите! – приказал толсторожий и хлопнул в ладоши. После этого он затащил правую ногу щиколоткой на колено левой и, одна на другую, сложил руки на вздранной щиколотке.

– Ты кому-нибудь говорила о том, что задумала? – спросил тот, что был Маракулин, громадный, как кран, в водолазке, наклоняясь к Полине.

– Нет, – сказала Полина каким-то не своим, задущенным голосом, вроде как она не сказала, а вытянули его у нее изо рта клещами.

– А когда шла туда, тебе никто не встретился?

– Нет, никто, – вытянули из Полины голос, и она зажала рот, будто сдернули его на нитку.

Ноздрюха выглядывала на них из-за красного своего рояля и все кляла себя, что послушалась, дура стоеросовая, Полину и поперлась за ней. «В космос тебе б полететь еще...» – бормотала она, ущипывая себя в ненависти за кожу на коленке. Но то и дело она забывалась, уставая ругать свою слабовольность, и открывала, что сидит, смотрит на Полину с этим мужиком, странных людей, Антигону и Креона по имени, представляющих, с отпавшей челюстью.

Она думала, что просидела так-то минут тридцать, но, когда толсторожий, хлопнув в ладоши, сказал: «Перерыв», – обнаружила по часикам «Слава» на руке, что минуло полтора часа. Она удивилась этому и, потеряв осторожность, в удивлении потрясла рукой с часиками, проверяя, не остановились ли, и громко сказала:

– Во пробежало-то!..

Толсторожий, в не успевшей еще заполниться ничьими другими голосами тишине, услышал Ноздрюху, повернулся, потянулся своим большим телом в сторону, чтобы лучше видеть ее, и позвал:

– Ну-ка, ну-ка! Новенькая?!

Ноздрюха, краснея пятнами и в страхе водя глазами по комнате, ища Полину и не находя ее, вылезла из-за рояля и встала подле.

– Что ж вы туда спрятались. Давайте идите сюда, – сказал толсторожий, отваливаясь на спинку стула и снова затаскивая одну ногу щиколоткой на другую. – Приготовили почитать что-нибудь?

– А-а... я... я... – забормотала Ноздрюха, перебирая руками по подолу кофты, в которую была одета. – Я... это... чего почитать?

– Ну, чего, чего, – ободряюще улыбнулся толсторожий. – Чего хотите. Что приготовили. Давайте вот сюда, на середочку, чтобы все видели.

Зачем-то подчиняясь ему, Ноздрюха пошла на середочку... превозмогла себя – и остановилась.

– Нее... – сказала она, чувствуя свое лицо как ободранное морозом. – Я это... посмотреть... А это я – не...

Ей было – хоть под землю проваливайся, и она хотела уйти, но толсторожий не пустил ее.

Он посадил Ноздрюху в центре комнаты, на стул за собой и чуть сбоку, чтобы она все видела, но поначалу она ничего не видела от сраму, который перетерпела, и было ей так нехорошо в груди, будто спекло ей там все раствором. Но толсторожий так весело улыбался, оборачиваясь к ней всем своим большим широким телом, так по-простецки подмигивал ей и говорил, мотая головой на Полину с лохматым, допризывного вида парнем между поваленными набок стульями: ««Во дают, а! Каково? – что она мало-помалу осмелела потом и, когда занятия кончились и толсторожий, взглянув на часы, заохал и убежал, подрагивая чемоданчиком, пошла вместе с Полиной и еще целым табуном человек в шесть посидеть в кафе внизу, в подвале Дома культуры.

Тут, в подвале, она стала таскать от буфета стаканы и тарелки, как все таскали, вровень со всеми стала, сердце ее вконец отмякло, и она перестала видеть только себя и на себя только обращать внимание, а стала видеть других, приглядываться к ним и слушать. Она сидела тихо за столом, как мышь у лап кошки, боящаяся шевельнуться, чтобы та не цапнула ее назад острыми когтями, молчала и только слушала, поворачивая голову туда и сюда, и когда все смеялись, то смеялась. Она никогда раньше не слышала таких разговоров и не слышала, чтобы так ловко говорили, приставляя одно слово к другому, будто петлю к петле вязали, вывязывая нужное полотно. В прежней ее жизни, когда сходились за столом, люди вытаскивали из себя слова, похожие на вывернутые из земли корявые, уродливые пеньки, и говорили о деньгах, которых не хватает, о начальстве, которое зараза, о том, где у кого блат, а у кого нет, о том, кто сколько килограммов может усидеть, и о бабах – если собирались в основном мужики, а если женщины – о мужиках; когда жила с полковником, так и вообще никаких разговоров не вела – успей с делами управься. А здесь за столом говорили о какой-то биоэнергии, которой будто бы человек переполнен и столько ее в нем, что один академик, когда ложится спать, то цепляет себя на ночь цепью к батарее, чтобы разрядиться, о каком-то экзиселизме говорили и о том, что он уже умер, хотя Камю велик все равно, но Хадегер вот сволочь, потому что был фашист. И еще обсуждали такое понятие, как самовыражение личности, и что под этим, собственно, понимать, и доказывали друг другу, как правильно понимать пьесу, которую они сейчас как раз и репетировали, – «Антигона» француза А-ну-я, с ударением на среднем слоге.

Вообще Ноздрюхе даже в голову не входило раньше, что есть такие дома культуры, куда со всего города сталкивается народ, и не на танцы, чтобы повыкобениваться друг перед другом одежей и бахилами да присмотреть, кого проводить до дому, чтобы убить вечер, а так вот поделаться чего вместе, порадоваться друг с другом и подумать потом всем обществом, как должен человек жить, чтобы жизнь его была ему в радость и в интерес, а не в отбывание повинности. При фабрике у нее в клубе тоже были разные кружки, но там собирались все свои ж девки, что и так десять раз на дню друг другу глаза мозолили, да и как собирались – к Восьмому марта или Первому мая концерт председатель профкома стогнал подготовить, подготовили – и разбежались кто куда. И молодые только ходили, как замуж выскочат – так и ускачут, не вырвешь от мужа, а здесь были и семейные, по кольцам видно, и ровня ей, и старше даже.

Сверху в кафе спустилось еще сколько-то человек, с грохотом присоединили к их столу соседний, уселись, потом пришло еще трое, тоже подсоединились...

Худой, с запавшими вовнутрь серыми, как сухой асфальт, глазами мужчина на дальнем крае стола, давно уже, заметила Ноздрюха, как пришел, все смотревший на нее, вдруг сказал громко:

– А вот я б вас пописал, вот что. Мне ваше лицо нравится. Как вы к этому делу, а?

– Я, что ли? – не поняла Ноздрюха, хотя на нее он смотрел, не на кого другого.

– Вы, – сказал мужчина. – У вас лицо для меня интересное, я вас пописать хочу, не согласитесь?

– Как это? – опять не поняла Ноздрюха, в какой раз нынче краснея, так как все замолчали и смотрели теперь на нее.

– Попозировать, как! – сказал, мужчина, улыбаясь, улыбка у него была узкая, кособокая, будто он насмеялся над собой, и перед Ноздрюхой как полыхнуло: вот она, удача-то. Как ей с Полиной-то вместе – поди-ка она так попредставляйся, нет, не умеет, а посидеть, мордой повертеть – что трудного-то, что не сумеет. И человеку радость доставит, и его о жизни его попытает – вот ей удача-то!

– А я б не против, – сказала она мужчине, тоже улыбаясь, и он, затряся рукой с оттопыренным указательным пальцем над столом, закричал:

– Вот, вот! Вот с улыбкой вашей, вот!

С этого дня, уговариваясь заранее, Ноздрюха стала ездить «на сеансы». Худого звали Всеволодом – Севой, ему было двадцать шесть, хотя выглядел он Ноздрюхе ровесником, раньше он работал электриком на заводе, а теперь нигде, писал всякие объявления для Дзержинской овощебазы, возле которой жил, а также афиши для своего ЖЭКа, и на эти деньги существовал. Ноздрюха ездила к нему домой – пятнадцатиметровую комнату в трехкомнатной коммунальной квартире блочной башни, заставленную столами, мольбертом, подрамниками, заваленную бумагой – всегда захламленную, он усаживал ее против света и сначала работал молча, а потом расслаблялся и начинал говорить.

– На хрен оно мне сдалось, их Суриковское, – говорил он. – Они там только гробят людей, из талантов делают бездарей – это их задача. Они вытравливают талант, сводят его к среднему арифметическому – это называется, они выучили. Я в него не поступал и не буду. В эту студию я хожу – мне нужно техникой овладеть. Я, Глашенька, поздно начал, ах, Глашенька, сколько времени я зря профуркал, если бы ты знала! Но сейчас я зато работаю, я как вол, у меня все это поставлено, я их всех догоню!.. Я же не идиот какой, я понимаю, чего мне не хватает – у них студия на три года, я у них вполне себе рисунок поставил... и все у них возьму, все!.. А ну-ка ты теперь про себя чего Расскажи, – просил он.

Ноздрюха не знала, что рассказывать. Он говорил о своей работе, ей казалось, что и она должна тогда о своей, начинала, но Сева обрывал ее:

– А-а! Это мне и так все видно. И так все ясно. Ты про жизнь свою, про жизнь. Как до Москвы жила. Ты откуда?

Ноздрюха отвечала, но рассказывать про ту свою жизнь было ей и скучно, и страшно было забираться туда, в глубь своих прожитых лет, и она отмахивалась, спрашивала его самого про что-нибудь – ей это было интересно, для чего же она и ходила рисоваться-то.

– Вот это правда твоя, так, что ли: выучиться и картины писать, чтобы люди смотрели и радовались? – спрашивала она.

– Радовались... – бормотал он, взглядывая на Ноздрюху и будто мимо нее серыми своими темными глазами. – Чего их веселить. Заплачут если – вот дело.

Работу свою Ноздрюхе он не показывал, завешивал тряпкой и отворачивал к стене.

– Потом, – говорил он, – потом. Еще впереди главное...

По комнате иногда, когда Ноздрюха была у него, моталась патлатая девка, в таких же, в каких Маша работала на стройке, серых дерюжных штанах, именуемых джинсами, только против Маши – как камыш перед деревом, что в груди плоская, что в бедрах, болтала все

время, сменяя одну другой, сигаретку во рту; то лежала на диване, читая какую-нибудь книгу, то выскакивала на кухню и возвращалась со стаканами кофе для каждого – ждала, в общем, когда Ноздрюха уйдет, совалась иной раз к Севе посмотреть, что он делает, и он орал тогда, вздуваясь жилой на шее:

– Потом! Говорю – потом, не ясно разве?!

– А может, потом – суп с котом? – обиженно усмехаясь, загадочно говорила девка.

Она работала машинисткой где-то, звали ее Галей. Ноздрюхе ясно было, что живут они как муж и жена, только ей было непонятно, зачем же это так Галя допускает – поди что случись, куда она? Ей ведь не как Ноздрюхе, ей вроде и двадцати-то не минуло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.